

Михаил Румер-Зараев

## Другая жизнь и берег дальний

*Литературный дневник*

Блажен, кому судьба уготовила ровное и непрерывное течение жизни в своей стране, своем городе, своей среде и культуре на протяжении всего отпущенного ему срока бытия. Но в наше глобалистское время, в обстоятельствах бурной российской истории все больше становится тех, кому суждены сломы не только семейные, профессиональные, а подчас и географические. Им словно бы удастся обрести не одну, а две-три жизни. Для миллионов живущих сейчас в Германии русских (не обязательно этнических русских, а по принадлежности к культуре, языку, ментальности) их обитание в этой европейской стране — особая другая жизнь, куда они привнесли свое прошлое и где обрели совсем иное, чем там, где они родились, настоящее. Одни пытаются отрясти прах прошлого со своих ног и скорее стать немцами, другие ощущают себя своего рода мостом между ушедшей жизнью и будущим своих детей. Едем дас зайне — каждому свое — как с inferнальной философичностью было написано на воротах Бухенвальда. У меня годы жизни в Германии вызвали сложный букет противоречивых чувств, которые отразились в новеллах предлагаемого читателю «ДН» литературного дневника.

### *I. Ностальгия*

**Музыка на вокзале.** В шесть часов ледяного ноябрьского утра с грудой чемоданов стоим на перроне ганноверского вокзала. Люди обтекают нас, спеша на ранние пригородные поезда, — утренняя невыспавшаяся Европа.

Жена и сын уходят искать такси, а я остаюсь сторожить чемоданы. Стою, прикрыв глаза, впитывая запахи и голоса вокзального мира — сигаретный дым, сладкую вонь дезодоранта, кашель, шарканье ног, обрывки слов. И вдруг в эту мешанину звуков сначала чуть слышно, а потом явственнее пробивается старый российский вальсок. Снится мне, что ли? Но нет, потом идет «Катюша», потом еще что-то забытое из репертуара шестидесятых.

Лет сорок назад мой друг, ныне уже покойный, опубликовал в «Юности» рассказ «Музыка на вокзале». Парень уезжает в Среднюю Азию, обретая тем самым свою мечту, а его девушка и друг остаются в Москве и мечту свою не обретают. Действие происходит на вокзале, там громко звучит музыка и заглушает последние слова отъезжающего мечтателя. Рассказ был навеян нашими непрерывными отъездами, провожаниями, письмами, романами. Музыка тогда звучала сверху, из репродукторов, громко и настойчиво. Здесь она робко пробивается через вокзальный шум откуда-то из подземного перехода, и, сделав несколько шагов к его устью, я вижу щуплого парня в распахнутой куртке, раздвигающего меха аккордеона. На полу валяется шапка со скудной горстью мелочи. Вот она, музыка моей старости.

И потом уже в пространстве новой своей жизни я узнаю, как монополизировали мои российские соотечественники профессию уличного музыканта, как приезжают

они на полгода, а то и больше со своими аккордеонами, гитарами, саксофонами и вливаются в это бродячее племя, узнавая его законы и порядки — в каком городском ведомстве почем покупать разрешение, где можно легально петь, а где нельзя, какие места хлебные, а где почти не подадут, не кидают монету в открытый футляр от инструмента или в пластиковый стаканчик, с которым ты обходишь пассажиров. И звучит, звучит в берлинском метро, в мюнхенской подземке, под вокзальными сводами разных городов или на уличных перекрестках «Смуглянка-молдаванка» или «Школьный вальс».

**Старый песенник.** Но не только на улице это поется. Знаю одну берлинскую компанию «из наших», которая, собираясь в застолье, поет под гитару старые советские песни.

Если б сказали этим людям — журналисту, телеоператору, переводчику, ученому — в их прежнем московском бытии, что когда-нибудь они будут вот так вот хором после рюмки распевать «песни советских композиторов» — ни за что не поверили бы. Они всегда были люди компанейские, открытые для общения, и уж о чем только не переговорено было на московских кухнях — о политике и литературе, о том, когда она — эта самая Софья Власьева — отправится в тартарары и какое ж тогда счастливое время наступит, о Солженицыне и Пастернаке, и самиздатом обменивались «на одну ночь», и рюмки осушались не как теперь — по одной, символически, — а куда больше, но чтоб хором петь «Где ж вы, где ж вы, где ж вы очи карие...»

Люди российские конечно же пели на праздники, на народных гулянках, в деревнях, в городских дворах, допьяна напившись, разинув слюнявые рты, «Шумел камыш...» Только не эти. Этим-то — с какой стати петь. Окуджаву послушать, Галича — другое дело. Но — «Что ты Вася приуныл, голову повесил...»? Это невероятно.

Вероятно, очень даже вероятно.

Открываю книжку, случайно попавшую в мой берлинский дом, — «Русские советские песни», Москва, 1952 год — и прямо уносит вальсовая волна — «С берез неслышен невесом, слетает желтый лист. Старинный вальс «Осенний сон» играет гармонист».

А другое — «Как-то утром на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка-молдаванка собирала виноград...»

Сидим компанией, все на седьмом десятке. Какие тебе смуглянки-молдаванки. Жены рядом, с которыми жизнь прожита, но, боже мой, как зажигает, как заводит, с каким молодым задором и молодой пленительностью это поется: «Я смущенный и влюбленный пред тобой». Как живет в человеке до самого смертного часа память о первой любви и как сердечным сжатием откликается в мелодии — «Я влюбленный пред тобой».

А «Эх, дороги...» — просто гениальная, на мой взгляд, самая совершенная русская песня, которую я когда-либо слышал. Мелодия А. Новикова, словно облагородившая и гармонизировавшая заунывность народных похоронных плачей, вобравшая в себя печаль и муку расставания с миром, прекрасным даже в трагедии войны. И вместе с тем чувство непрерывности существования: «А дорога дальше мчится, пылится, клубится. А кругом земля дымится, чужая земля». В чем сила воздействия этих простых слов: «Выстрел грянет, ворон кружит. Твой дружок в бурьяне неживой лежит». «Неживой», не мертвый, а именно неживой, так и надо было сказать. И что же все-таки заложено в человеке, если Лев Ошанин, этот советский конформист, славивший Сталина, партию, написавший «Гимн демократической молодежи», мог написать такое? Многое ему простится за слова этой песни.

Напомню, что книга издана в 52-м и, стало быть, все это песни сталинского времени, наполненного войнами, террором, голодом, страхом. Но ничего этого как бы не было в советской песенной культуре. Была, конечно, война. Гремел грозный призыв «Вставай страна огромная», тосковал солдат по дому («Горит свечи огарочек...»), звучали марши, любовные романсы — люди страдали, тосковали, любили, ненавидели и умирали. Но печаль была мудра, ненависть заострена на враге, любовь освящена высоким чувством семьи, и вся грязь, кровь, все низменное страшное, что свойственно всякой войне, оказывалось за бортом песенного корабля, вне поля

видения и мышления поэтов и композиторов. А другие проявления жизни — и сельской, и городской, — те вообще были напоены таким романтическим настоем, такой радостью бытия, что мелодии просто улетали в солнечную синеву, растворяясь в прекрасном Едином. «Весны своей огни навеки в душе сохрани. Пускай они светятся, если вдруг встретятся облачные дни».

Мы словно знать не знаем и помнить не хотим тягостную, а подчас трагическую реальность времени, в котором жили всю предшествовавшую переезду жизнь и теперь вот откликаемся на эти романтические тексты, на звучащие в нашей душе мелодии, с таким упоением поем их в нашей германской глухомани...

Ни одно последующее поколение в российской истории не понимает, как могло существовать предыдущее, как оно вообще выжило и сохранило себя. Перелистывая газеты тридцатых годов с их людоедскими лозунгами типа «Раздавить гадину!», то есть уничтожить тех, кого еще вчера те же газеты называли вождями, я спрашивал отца — журналиста тех лет: «Как можно было работать и вообще жить в такой атмосфере?» Но и молодые коллеги, нынешние наши современники спрашивают меня, начавшего свою профессиональную жизнь в шестидесятые годы: «Как можно было работать в ту эпоху всеобщего тоталитаризма?» Не забудем: и в тридцатые, и в шестидесятые годы при всей противоестественности политического строя люди работали, жили, любили, воспитывали детей. И как бы ни тягостна была жизнь страны, отдельное человеческое существование теперь представляется проникнутым многим светлым и радостным, о котором мы храним воспоминания.

Эти воспоминания, воплощенные в мелодиях, в словах, пусть и нехитрых, но живых, народных, сейчас трогают наши души. Ностальгия по прошлому может существовать, как бы ни ужасно было это прошлое в общественном смысле. В личном плане оно все равно освещается светом жизни.

Дописал эти строки, включил русское телевидение, а там поет-разливается под руководством тогдашнего министра культуры Швыдкого конкурс «Песня XX века». Та же ностальгия. Только во всероссийском масштабе. Но нас ведь и не отделишь от метрополии. Мы часть той культуры, той советской цивилизации. И память одна, общая, и песни.

**В поисках Кондафорда.** В Ганновере мы жили как в деревне. Городская окраина — зелено, тихо, пустынно. Оторвавшись от рукописи, сижу на балконе с каким-нибудь старым зачитанным романом для отдохновения души. Однажды попался «Конец главы» Голсуорси.

Голсуорси в пятидесятые был кумиром московских интеллигентных домов. Все запоем читали «Сагу о Форсайтах». «Конец главы» — продолжение «Саги» — я купил по случаю в конце семидесятых в каком-то деревенском магазине на пути из Себежа в Псков и сам удивился той поглощенности, с которой стал читать в междугородном автобусе.

Замок Кондафорд, его обитатели — провинциальные английские аристократы, чувствующие себя неотделимыми от примыкающей к поместью деревни, девушка Динни с васильковыми глазами, конфликты из-за нарушения супружеской верности, из-за перехода в ислам под дулом пистолета (вынужденная смена религии — бесчестье для англичанина). Старая добрая Англия, которую автор нежно любит и которая в его изображении, в сущности, не изменилась ни с диккенсовских, ни с викторианских времен.

Я так проникся этой жизнью столь бесконечно далекой от нашего жестокого и грязного существования, что в сцене, когда благородный священник обещает умирающей девочке кино на том свете, заплакал. Я не плакал, когда у меня на руках умирал мой собственный отец, проживший жизнь полную таких ужасов, которые герои Голсуорси даже вообразить не могли. А тут, когда священник, держа холодеющую руку ребенка, подумал: «Ну, а теперь, Господи, если ты существуешь, покажи ей кино!», почувствовал, что у меня текут слезы.

Перечитывая эту книгу на балконе в Ганновере, я задумался о том, чем же меня привлекает этот слабый сентиментальный роман? Конец родовых дворянских гнезд — это ведь и бунинский сюжет. «Скажи поклоны князю и княжне...» И Толстой в

своей Ясной Поляне, и Бунин, выросший в елецком поместье отца, знали деревню великолепно и, как хозяева Кондафорда, чувствовали себя неотделимыми от нее. Но в рассказах Бунина появляются страшные, необычайно выпукло изображенные люмпенизированные мужики, которые в своем бессмысленном и беспощадном бунте вышибли последних обитателей этих российских кондафордов из страны, пустив их скитаться по свету.

Голсуорси между тем даже и не думает изображать кондафордских селян, они просто фон, как предметы мебели в замке. Они не нужны ему, не интересны. Рабочие, фермеры — знаковые фигуры и у Диккенса. Ни судеб, ни тонкости чувств им не приписывается. Это ж у нас так колоритны Платоны Каратаевы да Захары Воробьевы. Они действующие лица Истории, превратившей страну в плавильный котел, сорвавшей с места людей разного звания, лишившей их корней, среды, воспоминаний, постоянного места обитания.

В семидесятые годы у нас в редакции аграрной газеты стали давать садовые участки в Подмосковье. И как же эти крестьянские дети, которых немало носило по России, по ее областным и районным весям, ухватились за землю, с какой страстью стали обустраивать ее, строить дома, с каким наслаждением жили там, пахали и сеяли, даже умерших стариков хоронили на близлежащем деревенском кладбище — пустить бы корни, осесть, зацепиться за якорь своего миниатюрного Кондафорда.

Я тоже взял участок, и дом построил, но не пахал, не сеял, а просто отдыхал, писал там иногда, за что и было мне от сослуживцев прозвище добродушно-презрительное — «дачник». Они полагали, что природа у меня другая — еврейская. А всякий еврей — вечный жид. Что их скитания в сравнении с моими! Они на протяжении одного-двух поколений перебрались из русской деревни в город, испытав шукшинский слом сознания. Мой же род каждые полвека меняет не просто города и страны — культуру, цивилизацию.

После нескольких лет германской жизни приехал в Москву. От дома, где прожил последние тридцать лет, остались одни стены. Вся начинка выбита, говорят, будет здесь престижное — не чета нашему прежнему — жилью. В пустых бойницах окон третьего этажа виднелось пятно уцелевшей штукатурки с клочком зеленых обоев. Там была комната сына.

Влекомый ностальгическим комплексом, поехал на восточную окраину города, где родился и прожил первые двадцать лет жизни. Дом, построенный в двадцатые годы и казавшийся тогда со своими четырьмя этажами огромным, стоит. Притулился в тени блочно-панельных гигантов. Еле-еле отыскал свою школу. Все перепланировано, перестроено, кажется, и улиц моего детства нет. Все заплыло, заволокло водой времени.

Где мой Кондафорд? Ау! Не замок — дом, улица, страна? Где мне бросать якорь, ждать внуков? Здесь, в Ганновере, на Гофман фон Фаллерслебенштрассе, где так мирно сидится на балконе со старым романом в руках? Между прочим, этот самый Гофман фон Фаллерслебен — романтический поэт девятнадцатого века — некогда написал германский гимн «Дойчланд, дойчланд юбер аллес!» — «Германия, Германия, превыше всего!»

## II. Мы в Германии

**Общежитие имени экономиста Карла Маркса.** Получив постоянный вид на жительство, мы были обязаны пройти полугодовые языковые курсы. Наши курсы назывались «Inlinqua». И все здесь было по-немецки основательно и благонамеренно — от выбитой на здании надписи «Verein für Fortbildung», что можно перевести как «общество повышения квалификации», до портретов президентов ферайна, начиная с самого первого — из девятнадцатого века — с горделивой осанкой, закрученными усами и стоячим воротничком.

Но в нашей классной комнате плещется век нынешний. Кого только нет среди 24-х человек, заполнивших класс! Немцы из Казахстана, Узбекистана и Сибири, евреи из Украины, Москвы и Петербурга, курды из Ирака, персы из Ирана, азербайд-

жанцы из Баку. Все вместе мы зубрим немецкие глаголы, болтаем на причудливой языковой смеси на переменах, пьем вино на совместных застольях, поочередно устраиваемых в дни рождения здесь же, в классной комнате за сдвинутыми столами. Это временное интернациональное сообщество подвигло меня по ассоциации с ильфовским общежитием имени монаха Бертольда Шварца на название — общежитие имени экономиста Карла Маркса.

Месяц в этом общежитии идет за месяцем. Меняются громкоголосые фрау, преподающие нам языковую премудрость, взвиваются вверх на вертикальных рельсах исписанная мелом доска. Мы погружаемся в жизнь то герра Флика, который застал свою жену целующейся с его деловым партнером, то герра Беккера, который торгует обувью, в полдень обедает, а вечером добродетельно сидит у телевизора. Мы с муками разбираем заметки в ганноверской «Вечерке», радостно сообщаящей о наступившей жаре и купанье на Машзее. Мы дремлем, когда на уроке скучно, и бродим в обеденный перерыв по тенистым аллеям огромного парка, заселенного нашими соотечественниками, жующими, острящими и грустящими на скамейках под сенью старых развесистых деревьев. Мы пытаемся понять и освоить мир, в который попали.

Иностранцев в стране около 8 миллионов. Более двух миллионов турок, миллион выходцев из Югославии, еще миллион — из различных европейских стран. Сюда не входят русские немцы, которые иностранцами, естественно, не считаются, но тоже проходят процесс интеграции, несут русский язык и культуру. Их — более двух миллионов. Выходит, что у каждого десятого жителя Германии родной язык не немецкий.

Гитлер с его мечтой о расово чистой Германии в гробу перевернулся бы, если бы увидел улицы немецких городов, заполненные смуглыми, черными, желтыми людьми. И именно они, эти смуглые люди, восстанавливали разоренную войной страну, создавая базу для «экономического чуда». В середине пятидесятых годов ФРГ заключала договора о наборе неквалифицированной рабочей силы с Италией, Испанией, Грецией, а затем, когда трудовые ресурсы этих стран исчерпались, — с Турцией, Марокко, Тунисом.

Молодые немцы учились в университетах, становясь учителями, врачами, учеными, старики уходили на пенсию, а «черную работу» делали «черные». И все труднее становилось отправлять их после истечения договора домой, все чаще они пользовались всевозможными ухищрениями, лазейками в законах, чтобы остаться в сытой благоденствующей стране, превращая ее общество в мультикультурное — «мультикульту».

Эта мультикультурность ощущается и в нашем «общежитии» в характерах его обитателей, в их реакции на предлагаемые на занятиях тесты. Вот, скажем, такое упражнение. Картинка 1. Человек читает газету. Собака лает на дверь. Картинка 2. Человек идет к двери. Собака лает. Картинка 3. За дверью никого. Задание: придумайте, что может быть на картинке 4, которой нет. Харьковчанин Захар придумывает: человек возвращается, а собака сидит в кресле и читает газету. Перс Мухаммед, инженер из Тегерана, возмущается. Человек есть человек, а животное есть животное. Нельзя так фантазировать. Он человек строгих правил, четких представлений о жизни, где каждый занимает свое место.

Или обсуждаем текст об эмансипации. Мужчина остался без работы, ведет хозяйство, а жена работает — ситуация в Германии нередкая. Наша преподавательница Клаудиа — молодая немка с аристократической фамилией с приставкой фон — говорит об уравнении прав, о том, что у нее муж все делает по дому. Перс сказал, что не может понять, как это женщина не хочет готовить. Это не укладывается в его сознании.

Кстати о готовке. Чтобы оживить занятие Клаудиа предложила написать на доске рецепт приготовления украинского борща. Как встрепенулись все, как оживились! Со страстью обсуждали, какое мясо класть. Захар утверждал, что обязательно куриное: настоящий украинский борщ только с курицей. Ему ли, харьковчанину, не знать? Эмма настаивала на говядине и чтоб обязательно с косточкой. У них в Казахстане делали только так. Ее поддержали. И пошло — капуста, паприка, красная свекла...

— Про чеснок, про чеснок не забудьте, — стонал упитанный часовщик из Петербурга.

— Редиска нужна, — утверждал администратор бакинского ресторана Физули.

— Зачем тебе редиска?

— Рядом положить.

— Эх, зря об еде, — вздыхал бакинец Адам, не дурак выпить и закусить. — И так есть хочется. — А под конец наставительно вставил в общий ор. — Чтоб мясо обязательно жирное было.

Все записали, затихли, устали, успокоились. И только отдельными вспышками слышалось: «Кетчуп бы туда».

И уже под занавес Клаудиа, писавшая все это с материнской иронией, когда ей сказали, что перед едой надо обязательно положить в борщ сметану — «шмант», сладострастно зажмурилась и повторила: «Шмант, йа».

Но не только кулинарные барьеры и пристрастия разделяли нас. Как-то Клаудиа увидела на моем столе русский журнал с изображением Ленина в мавзолее. Она оживилась и стала спрашивать, что мы думаем о том, лежать ли ему там, видимо, и до нее дошли отголоски спора, который был популярен в то время. Вся русскоязычная часть класса возбудилась: кричали, перебивали друг друга — надо выносить мумию из мавзолея, не надо выносить, где хоронить... Крик продолжался довольно долго, пока курд Ахмед не спросил: «А кто такой Ленин?» В классе наступила тишина. И в это тишине раздался голос перса Мухаммеда: «Мы десять минут обсуждаем, где лежать Ленину. А где он лежит и кто он такой?» Взрыв хохота. «Не знаешь и лучше тебе не знать», — кричали русские.

На перемене Мухаммед расспрашивал меня о Ленине — когда он жил, можно ли его сравнивать с Гитлером или с Хомейни?

На другой перемене разговорился с пожилым татаринном, много лет проработавшим в Средней Азии на урановых рудниках и приехавшим сюда вместе с женой — русской немкой. Я упомянул о ельцинских реформах, и он вдруг вспыхнул: «Да что вы мне говорите... Россия была ядерной державой, а сейчас что? Президент, который расстреливал из танков парламент... Что вспоминать об очередях за колбасой! А сейчас лучше?» Махнул рукой, отошел. И такая была в его голосе надсадная ярость, такая тоска по загубленной жизни, по несвершившемуся покою на старости лет, такое неприятие всего того, что бросило его доживать жизнь на чужбине, которая хоть и сытая, и спокойная, а все — чужбина, что жутко стало.

Где они все эти люди, с которыми я провел полгода в школьном здании на тихой улице с императорским династическим названием Гогенцоллернштрассе? Кто поучился еще на профессиональных курсах и, получив новую специальность, работает, кто устроился по старой профессии. Старики сидят с внуками, которые, став полноценными немцами, и знать не хотят о российском прошлом их дедов, о том, как они там жили в далекой диковинной стране, и как приезжали обживать в Германию. Что ж, и нам, и внукам — каждому свое.

**Истории успеха.** Повторю: где они все эти люди? Как складываются судьбы моих соотечественников, прибывших в лоно Германии не в старости (с этими все понятно — пенсия, если ты немец, социальное пособие, оплаченное жилье, бесплатная медицинская страховка — если еврей), а в трудоспособном возрасте — молодом ли, зрелом ли? Ох, много по этому поводу по русской Германии всяких историй, легенд, соображений ходит. Я же по своему довольно многочисленному окружению, по многолетнему редактированию русскоязычной газеты, дающему широкое поле общения, полагаю так: кто действительно хочет работать обязательно найдет себе применение, а по своей старой профессии или освоив новую — это уж вопрос другой.

Как происходит обретение работы в чужой стране, каких усилий и какой целеустремленности требует — тема особая, и я столкнулся с ней несколько лет назад, когда мне предложили составить и отредактировать сборник историй успеха под названием «Мы в Германии». В нем было сорок биографических рассказов выходцев из постсоветского пространства, которые, как предполагалось, с достаточной мерой искренности рассказали, как они нашли в Германии способ существования, через

какие препоны прошли на пути к этой цели. Некоторые из них писали о себе сами, другие открывали душу «беседчикам», одним из которых был и я. Врачи и инженеры, ремесленники и предприниматели, музыканты и компьютерщики — сорок автопортретов. Я перелистываю страницы сборника, всматриваюсь в фотоснимки его героев, многих из которых я знаю, и словно бы вхожу в жизнь каждого из них, наполненную поисками и надеждами, разочарованиями и всплесками энергии.

Вот Игорь Жуков летним воскресным утром идет по улице Потсдама, ведущей к озеру от его дома, неся байдарку и весло на плече. Наверное, и у себя в Питере он шел бы точно так же, ибо и там этот спорт, как и строительство байдарок были его любимыми занятиями. Он из тех рукастых, умелых и гармоничных людей, которые принимают жизнь такой, как она есть, и всегда находят в ней свое место. Сейчас ему под шестьдесят, а когда он приехал в Германию, ему было чуть за сорок. К тому времени он двенадцать лет, имея инженерный диплом, проработал испытателем авиадвигателей, а когда завод «перестроился» настолько, что люди остались без работы, организовал с друзьями-туристами кооператив по строительству байдарок. Дело шло, но в конце концов ему, по собственным его словам, «надоело видеть рожи бандитов и коррупцию чиновников».

В Потсдаме он пошел учиться на столяра, так как полагал, что в Германии после войны было запрещено развивать авиационную промышленность и, стало быть, работа по специальности ему не светила. А когда узнал от случайного знакомого, бывшего гэдээровского летчика, что под Берлином есть завод «Роллс-Ройс», который делает авиадвигатели, удивился, но все же с помощью того же летчика написал туда письмо. А дальше начался спектакль, с неожиданными поворотами сюжета, которые обязательно присутствуют в рассказах почти всех, кто излагал свою историю успеха. Игорю предложили инженерную работу в бюро, хотя он просился на должность сборщика двигателей. В бюро требовалось совершенное знание не только немецкого, но и английского языка, и к тому же начинать инженерную карьеру в его возрасте ему показалось сложно. Он испугался, вызвав удивление своего собеседника, который тем не менее послал за начальником сборочного цеха. Пока Игорь сидел один в ожидании главного сборщика, он обратил внимание на висящий на стене плакат двигателя в разрезе. Делать было нечего, и он весь этот двигатель вызубрил наизусть. А когда начальник таки пришел, выложив ту же самую схему, и попросил рассказать, что он на ней видит, Жуков поразил его своей эрудицией, умолчав, что плакат-то висит у них за спиной. Его взяли, сначала на временный, а потом и на постоянный контракт. Он так и работает на этом предприятии, которому принадлежит сорок процентов мирового производства двигателей для гражданской авиации, миновав кризисы, чреватые сокращениями рабочей силы. Мир его гармоничен, отношения с людьми естественны и не сложны.

«С немцами общаюсь с удовольствием, — говорит он. — Кстати, меня всегда удивляет, когда кто-то говорит, что здесь не любят иностранцев. Почему кто-то вообще должен любить незнакомого человека? Когда люди видят, что человек работает так же, как и они, нормально реагирует на все происходящее, какие могут быть основания питать неприязнь к такому человеку? Мне нравится эта страна и эти люди. Их есть за что уважать. Ведь после войны Германия была разрушена настолько, что сравнить это можно только с разрушениями в Советском Союзе. В нее американцы вложили колоссальные деньги. А немцы, вместо того чтобы эти деньги разворовать, восстановили страну. И не просто восстановили, а сделали ведущей экономической державой Европы. И тем самым похоронили идею реванша. Ведь фашизм родился из нищеты».

Вот такая вот политическая философия этого урожденного ленинградца, а ныне потсдамского жителя. В его автобиографическом рассказе мне видятся некие прототипические сюжеты и рассуждения, характерные и для других героев сборника «Мы в Германии» и, прежде всего, уважительное и объективное отношение к этой самой Германии, свойственное оптимистическому мироощущению человека, добившегося здесь успеха. Никаких тебе — да ну их этих немцев, все равно им умом Россию не понять и вообще Восток есть Восток, а Запад есть Запад. Вот диалог сына моего

московского приятеля Льва Мадорского, сорокалетнего брауншвейгского судьи Саши Мадорского с собственным отцом.

*Отец:* А как воспринимают ответчики и истцы судью-иностранца? Ведь они, наверное, догадываются по акценту, что ты не коренной немец. Знакомый врач-хирург, прекрасный специалист, сделавший в Москве более тысячи операций, рассказывал, что были случаи, когда пациенты, которых он должен был оперировать, узнав о его российском происхождении, отказывались ложиться на стол. Да что там хирург — даже у зубного врача, приехавшего из Советского Союза, порой бывают проблемы с пациентами. Многим еще всюду мерещится русская мафия и купленные дипломы. Ты не сталкивался с подобными настроениями?

*Сын:* Скажу честно, не сталкивался. Ни разу! Иногда даже сам удивляюсь. Пару раз случалось, что истец или ответчик писали на меня жалобы начальству, так как не были удовлетворены приговором. Причем подчас в резких тонах. Но никогда в жалобах даже косвенно не делался намек на то, что судья не коренной немец. Никогда! О чем это говорит? Не только об уважении к самому институту суда, но и том, что жалобщики понимали: на иностранное происхождение судьи ни коим образом не усилит суть жалобы. А скорее, наоборот, вызовет негативную реакцию.

Другой нередко повторяющийся сюжет рассказов касается того, как они нашли работу, получили постоянный контракт. Сделать это совсем непросто, твой инженерный или какой-либо другой советский диплом здесь мало кого интересует. Ты должен показать себя, доказать, что ты лучше других, Бога за бороду поймать. И воспоминание об этом греет душу рассказчиков, дает все основания для самоутверждения. Вот шестидесятилетний инженер из Кировограда Дмитрий Улановский. Двадцать лет назад он приехал с женой в Дортмунд. Позади обычный вполне достойный путь: институт, завод, НИИ сельхозмашиностроения, кандидатская. Но сколько их таких технарей-кандидатов приехало в Германию, кто из них «бумажный» специалист, а кто настоящий? У Улановского, как и у других, все начиналось с курсов — сначала языковых, потом технического черчения, которые дали ему представление о немецких машиностроительных нормах и стандартах. Но получать диплом техника-чертежника ему не хотелось, дальше будут воспринимать его только в таком качестве. Он лихорадочно ищет работу. В конце концов выходит на фирму, которая производит узлы для автомобильных двигателей. У нее сложности с качеством изготовления некоторых деталей, и у Улановского спрашивают, как он видит решение проблемы? Подумав, он не только предложил конструктивные решения некоторых приспособлений, но и обещал сам провести их наладку и запуск в работу, что в общем-то не соответствовало немецкому инженерному менталитету. Конструкторы здесь делают свое дело, а производственники — свое, между ними разрыв. Он же заявил, что считает свою работу законченной только после проверки изделия в работе, что в данном случае оказалось важным. Его взяли на работу, но впереди была борьба за постоянный контракт, который с ним заключили по истечении года.

— Если бы жили в прежнем Союзе, — сказал ему интервьюер, — я бы склонился к вам и на ушко спросил бы, не дали ли вы взятку начальнику отдела кадров?

— А я ответил бы, что дал, — улыбнулся Улановский и назвал бы точную цифру взятки — 38 тысяч марок. — Дело в том, что у нас решалась задача специальной упаковки одного очень хрупкого и точного изделия. Заказ стоимостью в 40 тысяч марок был выдан одной солидной немецкой фирме, но разработанный ею механизм был очень капризен в работе. Я предложил другое более надежное устройство, которое стоило всего две тысячи. Вот вам и взятка, которую я дал фирме.

**Как стать богатым.** Но что я это все об инженерах да инженерах, словно бы говорит во мне моя юность, когда это была главная и наиболее престижная интеллигентная профессия, которая, правда, впоследствии так девальвировалась, что кругом все стали инженеры. Расскажу-ка я о сценаристе, который здесь, в Германии, стал предпринимателем, хозяином транспортной фирмы, а потом снова стал писать сценарии, не бросая своего бизнесменского занятия. Такая вот причудливая судьба.

Мы сидели в маленьком кафе на шестом этаже знаменитого берлинского магазина KaDeWe и хотя встретились здесь случайно, место это для разговора на тему,

как стать богатым, оказалось многозначительным, ибо все, что нас окружало, говорило о том, как хорошо быть богатым. Неподалеку господа хорошие ели устрицы, запивая их шабли. За стеклом прилавков розовели нежные балыки, переливались разными цветами изысканные продукты — от невиданных копченостей до коллекционных чаев редкостного вкуса и аромата. Ну, а как же иначе, ведь мы находились в Kaufhof des Westen — Торговом доме Запада — витринном и самом известном предприятии немецкой торговли.

Попивая кофе в этом храме роскоши и изобилия, мы вспоминали с Ильей Цофиным 35-летнего советского интеллигента, двадцать лет назад переломившего свою жизнь надвое и ставшего беженцем в берлинском предместье Марцан.

«Я был обыкновенный советский человек, если можно так сказать, интеллигентского сословия. Родился в Ульяновске. Учился в школе в Запорожье, где родители инженерили на заводе. Кончил экономический факультет Донецкого университета и какое-то время работал экономистом на заводе. Но это было недолго. Ушел на телевидение, в кино. Поступил во ВГИК, на сценарный факультет. Учился заочно и работал в Запорожье на телевидении режиссером и сценаристом. За свое вгиковское время я написал десяток сценариев — это была учеба. Один из них напечатал «Советский экран». Но через год после окончания института, в 90-м я уехал в Германию. Почему?

Было полное ощущение, что перестройка закончится возвратом к советизму, ловушка захлопнется, и никуда не уедешь, так как коммунисты вернутся к власти. Ощущение приближающейся беды висело над головой и подгоняло за кордон. Я взял туристскую путевку в ГДР и остался в Берлине. Нас таких оказалось несколько десятков. Жили мы в общежитии, гуляли по лесу, строили планы. Постепенно, пройдя через всякие бюрократические перипетии я получил статус, паспорт, снял квартиру, поселился и ... начал писать сценарий. Мы это делали вдвоем с моим сокурсником, к тому времени также перебравшимся из Москвы в Берлин. У нас там в этом сценарии в России происходил переворот, военные свергали Ельцина — сложный сюжет. Нам дали так называемую европейскую поддержку. Есть такой фонд, который материально поддерживает перспективных сценаристов. Мы даже деньги оттуда получили. И знай себе работали — первый вариант, второй вариант... А когда закончили, режиссера-постановщика не нашлось.

Два с половиной года я угрохал на этот сценарий, получив за это время из фонда европейской поддержки восемь тысяч марок. И тогда я сказал себе: надо искать себя в каком-то другом деле.

Это был 92-й год. Все, кто имел хоть какие-нибудь связи с Россией, на торговле с ней делали себе состояния. И вот я нахожу приятеля, давно живущего в Германии и отлично знающего немецкий язык, мы объединили наши усилия и начали торговать с Россией. Я поехал туда, навел мосты и в Москве, и на Украине, и в Белоруссии. И мы стали торговать, чем попало: от бронированных автомобилей до куриных окорочков. Чего только не поставляли мы в Россию — то партию подержанных «вольво», то новогодние подарки для детей... Создавали первоначальный капитал. А потом решили закупить крупную партию металлолома в Калининграде. И на этом наш бизнес кончился. Вместо металлолома приехали четверо каких-то криминальных типов. Отбиться мы от них отбились. А вот деньги потеряли. Так я разорился в первый раз.

Моего компаньона это сломало. Он больше не вернулся в бизнес. А я был моложе, может быть, агрессивнее и сделал для себе очень важный вывод: ничего нельзя сделать в один день, нельзя проснуться миллионером. Надо осваивать профессию, каждый день ходить на работу, рано вставать и пахать до позднего вечера.

У меня был один партнер в России, в Набережных Челнах, хозяин небольшой транспортной фирмы, у которого имелся представитель в Германии. И вот этому представителю не продлили визу, и срочно понадобился человек на его место. Мне пообещали «огромную» зарплату — 800 марок в месяц, правда, через полгода ее утروили. Я с таким напором взялся за дело, что результаты были очевидны.

Фирма находилась в Набережных Челнах. Это тридцать большегрузных КамАЗов, которые возили в Германию литье. Приехал шофер, ему нужно разгрузиться и обратно не пустым же ехать. Ему надо помочь, ведь немецкого он не знает, мало

ли что — в полицию попал, авария, наконец, а самое главное — найти обратный груз. Вокруг этого всегда вьются и кормятся разные посредники. Я же стал напрямую выходить на немецкие экспедиции, предлагать им машины, начал завязывать связи. Автомобили стали быстрее оборачиваться, не стоять неделями в ожидании обратного груза, фирма сразу же ощутила плоды моей работы на своей экономике.

КамАЗ продавал в Германию литые, а мы возили его. Я находил обратный груз, давал деньги водителям, по буквам диктовал им, как проехать, заботился о ремонте, если машина сломалась, объяснялся с полицией, если водитель напился... Много чего приходилось делать. Бизнес развивался, и я рос вместе с ним — оптимизировал расходы, искал новые стоянки, покупал топливо. Мотался с утра до ночи — с восьми утра до десяти вечера. Это и было освоение профессии.

Все вроде шло хорошо, у нас появилось имя, нас знали крупные немецкие экспедиторы. Но надо было переходить с КамАЗов на немецкие автомобили. КамАЗы слабосильны, ненадежны, каждая поломка — это катастрофа, была под Берлином всего одна фирма, которая торговала запчастями к ним. Я не говорю уже о высоком расходе топлива. Но пересесть на «вольво», «мерседесы» и другие западные грузовики, можно было, лишь получив кредиты под их покупку. Вот этим-то я и занимался полгода, преодолевая предубеждение, которое немецкие банки имели против российских фирм. Вслед за первой кредитной линией, позволившей нам приобрести десять западных машин, последовала вторая. В конце концов я стал совладельцем фирмы. И тут — дефолт 1998 года. В один день фирма потеряла миллион марок. Представляете? Ведь нам платили в рублях, а мы их меняли на валюту. И вот за рубль стали давать в пять раз меньше, чем раньше. А у нас кредиты невыплаченные за купленные машины. Банк, конечно, понимает: форс-мажорные обстоятельства, государство объявило себя банкротом. Но месяц идет за месяцем, и наши кредиторы начинают волноваться. А у нас в фирме еще и отношения осложнились. Знаете, когда все хорошо, все друг друга любят, а пришла беда — хочется найти виноватого. К тому же у нас с моим партнером оказались разные взгляды на то, как надо выходить из этой ситуации. Я считал, что надо искать новые рынки, а он, что следует ужаться, уволить всех, кого можно, и за счет такой экономии отдавать кредиты. Словом, разошлись мы с ним добру-поздорову. Я забрал свою часть собственности — десяток машин, обремененных долгами, и двинулся в Казахстан, так как его кризис не зацепил. Нашел в Алма-Ате партнеров, которые дали денег, и я, таким образом, смог в течение года вернуть банку долги, зарегистрировал в Германии новую транспортную фирму. Но это так легко говорится сейчас. А тогда, помню, как сидел перед казахстанским предпринимателем, который смотрел на меня оценивающим взглядом, и я около часа развивал свою программу, убеждал в перспективности и выгоды проекта, в который предлагал войти ему в качестве компаньона. Убедил. Построили мы в Алма-Ате гараж, создали бюро, нашли там водителей, заказчиков и начали возить грузы, развиваться мало-помалу, увеличивать парк машин (сейчас их у нас тридцать), оборот грузов. Словом, дело опять пошло. Но все это так легко говорится, а на деле сколько нервов, сколько риску было...

Как всякий разумный бизнесмен, я плачу себе приличную зарплату, а остальное вкладываю в развитие дела. Вообще жить надо достойно, не отказывая себе в радостях и удовольствиях. В этой стране так много соблазнов. Хочется жить в хорошей квартире, ходить в ресторан, купить жене красивое платье, отдыхать на морском курорте. Это нормально. И надо заработать право на такую жизнь. Я вообще считаю: энергичный и способный человек нигде не пропадет, он обязательно найдет себя не в одном так в другом деле. Поскольку мир несправедлив изначально, ты получаешь только ту справедливость, которую ты сам для себя отвоевал, отбил, получаешь тот мир, который ты сам себе создал».

В конце нашего разговора я спросил, как это получилось, что он опять начал писать сценарии для российского телевидения и как будто бы небезуспешно. Но он не стал развивать эту тему, видимо, полагая, что здесь особая история, о которой еще рано говорить.

**Что говорит рабочий класс.** И снова застолье. Только на сей раз в Ганновере, в хорошем семейном доме. Селедка была не маринованная, как здесь принято, а привычного пряного посола. Картошка разваристо лежала на блюде, исходя паром. Солёные огурцы, винегрет — все в жанре гастрономической ностальгии. За бутылочным стеклом прозрачно стоял «Кристалл», специально привезенный из Питера к недавно прошедшему юбилею хозяина дома. Юбилейная дата была круглая и немалая, совсем не вязавшаяся с обликом этого еще бравого человека, всю жизнь прослужившего в российском флоте.

К третьей рюмке подошел сын хозяев — 28-летний инженер, налитой силой, накачанный в спортивном зале, где он занимался бодибилдингом, пригубил с нами рюмку и принялся за котлету.

— Давай за детей наших выпьем, — сказал хозяин. — За то, что бы они жили не тужили и водочку не пили. Твой ведь, кажется, тоже не принимает.

— Говорит: нет потребности.

— И у моего нет потребности. А вот в спортзал ходить есть потребность. Говорит, если не качается, плохо себя чувствует.

Выпили по третьей. Сын улыбнулся и подмигнул мне. Был он, вопреки сложившемуся в России образу качка, характера добрейшего — славный интеллигентный питерский парень. Не найдя работы по своей кораблестроительной специальности (незадолго перед отъездом был получен инженерный диплом), он устроился на «Фольксваген» на сборочный конвейер. Некогда, как раз в его возрасте, я тоже работал на автозаводе, выпускавшем «Москвичи», правда, не на конвейере, а в заводской многотиражке. Но все же кое-какое представление о его нынешней профессии у меня имелось, что и обусловило начало нашего разговора.

Я: Ну, как там рабочий класс?

Он: А почему вы спрашиваете?

Я: Мой покойный отец, когда я, будучи в твоём возрасте, приходил с завода, обычно спрашивал: «Ну, что там говорит рабочий класс?» Он у меня был человек, воспитанный еще в тридцатые годы. И ему, понимаешь ли, хотелось припасть к мнению рабочего класса, как к источнику мудрости.

Он: И о чем у вас говорил рабочий класс.

Я: Да для меня такого понятия не было. Были просто люди и говорили они о разном, житейском. Кое с кем из своих сверстников я дружил. Но они смотрели на свою работу как на переходный этап жизни. Надо учиться, но не у всех это получалось. Во всяком случае, сборку автомобилей они не считали занятием на всю жизнь, хотя в конце концов кое-кто работал на конвейере долгие годы.

Он: О, здесь все по-другому. Если уж человек попал на «Фольксваген» и получил постоянный контракт, он считает себя устроившимся на всю жизнь. Это вполне престижное и уважаемое положение. И получают они вполне приличную зарплату, так что можно содержать семью, иметь нормальное жилье.

Я: Квартиру?

Он: Нередко дом.

Я: А их дети к чему себя готовят?

Он: Как правило, они кончают профессиональные школы, имеют рабочие профессии.

Я: Пьют?

Он: Пиво и помногу. А если водку, то малыми дозами. Вот эдак, граммов по пятьдесят.

Я: Да разве это называется пить. У нас на заводе один работяга говорил, что меньше двухсот он принять не может, глотка, дескать губчатая, все впитывается по пути.

Он: Недаром здесь считают русских пьяницами.

Я: Помню, как-то на вокзале немец-бомж выклянчил у меня монету и спросил, откуда я. Сказал, что из руссланд. Он подмигнул, сказал: «Ельцин» — и щелкнул себя по горлу. Ну, ты подумай, у какого-то несчастного немецкого бомжа Россия ассоциируется прежде всего с пьяницей-президентом! Но тебя-то они как воспринимают с твоей трезвостью? Удивляются, наверное?

*Он:* Их во мне многое удивляет. И не только трезвость. Они несказанно удивились, узнав, что я инженер. Инженер в их представлении — это солидный высокооплачиваемый человек, недаром столько лет потративший на учебу.

*Я:* А как они вообще относятся к иностранцам?

*Он:* Плохо. Не все, конечно, но человек пять в бригаде не любят иностранцев и не хотят, чтобы они здесь жили.

*Я:* А они говорят на эту тему?

*Он:* Еще как. Могут сказать: «Вонючий русский».

*Я:* А ты им можешь сказать: «Вонючий немец»?

*Он:* Вообще-то могу. Но я так не думаю.

*Я:* А у нас на заводе такой разговор непременно кончился бы мордобоем.

*Он:* Нет, они законопослушны. Мордобоя быть не может. Да и потом, я посиленее их, они это видят и силу уважают.

*Я:* Вы что же боретесь?

*Он:* Бороться не боремся, это ж цех, а не спортивный зал. Но иногда руку другу другу отжимаем.

*Я:* И ты всегда побеждаешь.

*Он:* И я всегда побеждаю.

*Я:* Но все же, если бы ты был маленьким и тщедушным, могли бы дать в рыло?

*Он:* Нет, это исключено. Я же сказал: они законопослушны.

*Я:* За что же все-таки они не любят иностранцев? Конкуренция на фоне безработицы?

*Он:* Возможно и это. Но, понимаете, ауслендеры работают хуже.

*Я:* Что значит хуже? Не довернул гайку?

*Он:* Не довернул гайку. Стремится попасть на более легкую операцию. А они работают здорово. Четко, старательно, добросовестно. Похоже, что у них это впитано с молоком матери.

*Я:* Постой, постой, мало ли здесь товаров плохого качества. То новый уют откажет, то подошва у ботинка треснет. Может, это просто школа «Фольксвагена»?

*Он:* Возможно. Но факт остается фактом. У нас в бригаде работают здорово.

*Я:* А бригада это сколько человек?

*Он:* Пятнадцать, из них четверо иностранцев.

*Я:* Стало быть, и ты хуже работаешь?

*Он:* Я нет. За то и уважают.

*Я:* А о чем они говорят? Что их интересует? Политика, экономика, международные дела?

*Он:* Ни в коей мере. Плевать им на политику. Спорт — об этом говорят. Сами не прочь сходить в кегельбан, да чтоб пивка выпить несколько бутылочек. Они не забивают себе голову политикой.

*Я:* Разговоры-то общие не о работе бывают. Скажем в столовой.

*Он:* Там нет столовой.

*Я:* Как нет? Да у нас на заводе в каждом цехе столовая была и неплохая по тем временам.

*Он:* Здесь каждые два часа перерывы по десять-двадцать минут, а обеденный — полчаса. Есть комната, где мы едим принесенные из дома бутерброды. Имеется буфет, где можно купить напитки. Раз в неделю дается часовой перерыв как бы для общения бригады, обсуждения всяких дел. Тогда заказываем обед в ресторане, нам его приносят оттуда и действительно идут разговоры.

*Я:* О чем?

*Он:* Я ж говорю: спорт, всякие бытовые темы, отдых (у нас отпуска бывают часто), машины — у всех они, конечно, есть. Если «фольксваген» покупаешь, то скидка.

*Я:* Но дружишь ты не с ними?

*Он:* Дружу я с российскими ребятами.

*Я:* Ну, а можно там расти по работе, скажем мастером стать?

*Он:* В принципе можно. У нас один грек несколько лет учился вечерами после

работы и стал мастером. Но это исключение, остальные довольны своим положением и ни о какой учебе или карьере не думают.

Я: А ты?

Он: А мне надо сначала получить постоянный контракт, у меня ж только временный. Который раз уж продлевают — и все на полгода. При постоянном контракте тебя практически не могу уволить, разве что нечто особенное выкинешь...

Я: А работа вообще трудная?

Он: Первое время физически очень трудно. Потом привыкаешь, делаешь все автоматически, так что голова свободна и думаешь о чем-нибудь своем.

Я: Знаешь, много лет назад так же, как я тебя о «Фольксвагене», расспрашивал меня о российском автомобильном заводе, на котором я тогда работал, один интересный человек. Звали его Вадим Андреев. Это был сын писателя Леонида Андреева, эмигрировавший году в двадцатом, проживший жизнь в Европе и приехавший тогда в начале шестидесятых годов в Россию вместе с женой, которая кстати была дочерью знаменитого эсеровского лидера и председателя Учредительного собрания Виктора Чернова. Я познакомился с ним в гостях у Бориса Абрамовича Слуцкого. Был такой поэт, может, ты слышал...

Он: Как же, как же...

Я: Так вот этот самый Вадим Андреев приехал из Женевы, где он работал переводчиком в каких-то международных организациях, и все ему в Москве было внове и интересно. Уж казалось, что интересного было в моей работе сотрудника заводской многотиражки, а он обрадовался. «Я тоже в молодости работал на заводе "Рено" фрезерщиком» Я поправил его: «У нас говорят "фрезеровщиком"». Вот так вот: он — представитель первой волны эмиграции — работал «фрезерщиком» на «Рено» во Франции, ты — представитель бог знает какой по счету волны, сборщиком на «Фольксвагене» в Германии.

Он: Усматриваете аналогию?

Я: Да что толку в аналогиях. Давай-ка лучше мы с твоим отцом выпьем за твою молодость, за твое будущее, за то, чтобы оно не было исчерпано знакомством с немецким рабочим классом и ждало тебя нечто более интересное.

Выпили и пошли смотреть по русскому ТВ очередную политическую передачу. Благо, в России идет вечное политическое гулянье.

**Быт и нравы за рубежом.** «Мой друг Самед Вургун, Баку покинув, прибыл в Лондон...» Крутится в памяти с детства запавшее туда начало симоновского стихотворения. Давно нет ни Симонova, ни Самеда Вургунa, ни той страны, которую они олицетворяли, а строка живет в памяти, как свет погасшей звезды, пронесшийся через космос. «А помнишь продолжение этой строфы? — спросил мой друг. — "Бывает так — большевику вдруг надо съездить к лордам"»...

Мы сидели в берлинской кнайпе, сиречь — пивной за кружкой пильзенского, наслаждаясь обществом друг друга. Дело было в середине нулевых годов. Мы расстались в Москве десять лет назад. Он уехал в Штаты, а я — в Германию. И вот теперь он приехал ко мне в гости.

— Давай поговорим о Германии, — предложил он. — Только знаешь, обойдемся без политики, без наследия нацизма и прочих набивших оскомину тем. Газеты я и у себя в Штатах читаю. Поговорим о том, как живут люди, о быте, обыкновенных человеческих заботах.

— Как писали у нас раньше, «быт и нравы за рубежом». Только и ты уж о своей Америке тоже без политических дрызг и президентских программ рассказывай. И давай в нашем разговоре тебя обозначим американцем «А», а меня немцем «Н».

Это обозначение развеселило нас, и я начал с такой истории.

Н.: В одном большом немецком городе хайм (убежище) для переселенцев представлял собой четырехподъездный многоэтажный дом. В трех подъездах временно обитали русские немцы, а в одном — евреи. Как водится, дети, играя во дворе, подрались. Вышли сначала матери, потом — отцы. И началось: «Ах, ты жидовская морда!» — «Ах, ты фашистский ублюдок!» Все в лучших российских традициях. Еле растащили. Потом поуспокоились, разговорились. Оказалось, оба русские. Один же-

нат на русской немке, другой — на еврейке. Кончилось все, разумеется, совместно распитой бутылкой.

А.: Это ты к вопросу о дружбе народов?

Н.: Да нет, скорее об обществе «мульти-культи».

А.: Ну, знаешь, у нас этого «мульти-культи» хоть отбавляй. Вообще мне кажется, что скоро весь западный мир превратится в плавильный котел наций. Между прочим, мы, когда шли к вам, зашли в цветочный магазин, облюбовали букет роз, который решили преподнести твоей жене, и вдруг появляется какой-то восточный человек — уж не знаю, турок, курд или перс — схватил этот букет, кинул деньги продавцу и ушел. У нас такое невозможно. Правило очереди соблюдается свято.

Н.: Да, пожалуй, и здесь такое нечасто. Но это же Берлин, чего здесь только не бывает.

А.: «Огни большого города»? Перебирайся в малый, как я. В моем городке всего семьдесят тысяч жителей.

Н.: Хочешь сказать, что у вас ни преступности, ни проституции, ни наркотиков нет.

А.: Что касается преступности, то о серьезных ее проявлениях у нас я не слышал, так по мелочи. Проституция, конечно, есть.

Н.: Кстати, о птичках. Я живу в центре Берлина, в Тиргартене. На днях в субботу вечером пошел погулять, дошел до улицы 17 июня. Это такая магистраль со скоростным движением. Представь себе осенние сумерки, накрапывает, пусто, а вдоль обочины, через каждые триста метров стоят здоровые такие кобылицы, одетые, как в униформу, — юбчонка до середины попки, а ниже — чулки на резинках. Так что станок, обтянутый прозрачными колготками, открыт. Стоят, беседуют. Время от времени притормаживает машина, высовывается клиент, короткий разговор, дверца приоткрывается — готово дело.

А.: Ну, в нашем городе все не так открыто. Газеты пишут о рейдах полиции. То женщина-офицер изображает проститутку и ловит клиента на живца, а потом волочет в полицию, то мужик-офицер, изобразив из себя покупателя, ловит «ночную бабочку»... Все своим чередом. Первая древнейшая профессия. Товар — деньги — товар.

Н.: Что касается товаров, то их качество — одно из главных наших разочарований. Чего только не ломалось у нас после покупки. Утюг меняли дважды, благо система рекламаций действует. Раскладушки, шкаф. Вот на днях купили плафон для ванной и конечно же комплект крепежных винтов не полон — одного не хватает.

А.: Где же она, хваленая немецкая аккуратность?

Н.: Вот именно, где? За годы, что мы здесь, многое, как нам кажется, стало хуже. Чаще опаздывают поезда, время от времени исчезают из продажи полюбившиеся продукты питания. Да и грязнее стало на улицах, во дворах мусорные контейнеры нередко переполнены.

А.: Чистота моего городка — следствие его малых размеров. В Нью-Йорке грязи тоже хватает. Думаю, что и здесь в небольших городах не в пример чище.

Н.: О, да. Мы недолго жили в нижнесаксонском Бад-Пюрмонте — чудном курортном месте — воплощении немецкой аккуратности и порядка. Помню, как нас поразила специальная машина, которая подъехала к выброшенному на улицу старому дивану и в момент схрумкала его, перемолола. В Берлине же переезд на новую квартиру сразу же вызывает проблему старой мебели. Куда ее девать? Если размеры не больше одного кубометра, а это довольно большой диван — вези его на своей машине в специальное перерабатывающее заведение. А если больше — целое дело, договариваемся с другим заведением за особую и немалую плату.

А.: Ну, ты уж разворчался. И то тебе не так и это. Небось и медициной недоволен — коммерциализирована, операцию сделают мгновенно, а чтоб лечить, да чтобы диагноз трудный, нестандартный... Да ведь это и у нас так. Зато у вас социальное обеспечение лучше.

Н.: Социальное пособие — примерно 330 евро на человека. Оплаченная квартира, если она, конечно, соответствует установленной норме, бесплатная медицинская страховка.

А.: У нас так называемый «вэлфер», примерно 220 долларов на человека. Да

треть этой суммы надо отдать за социальную квартиру в субсидированном доме. Попробуй-ка прожить на оставшиеся 140 долларов. Правда, по достижении 65 лет на тебя распространяется Supplementar Security Income в просторечье «эсэсай» — это 520 долларов, если ты один, и 780, если вас с женой двое. Треть этой суммы уйдет за социальную квартиру. Но здесь уже у супружеской пары останется 520 долларов.

*Н.:* Но ты ведь еще работаешь.

*А.:* Лаборантом на щебеночном карьере. Ведро, лопата, огромное решето, на котором трясется проба щебня. Встаю в пять, в семь на работе. Часа в три-четыре свободен. И скажи спасибо, что еще нашел такую работу. Считай, повезло.

*Н.:* Это с твоей-то кандидатской, а по-западному — докторской степенью.

*А.:* А об этом лучше не говорить. Написал скромно, что кончил химический колледж. И этого было много. Могли бы и не взять. Доктор — иди в университет. А кому я в университете нужен в моем-то возрасте да с моим английским?

*Н.:* Все это знакомо. Но уходить-то скоро тебе, наверное, придется. Возраст.

*А.:* Еще с годик потяну, а там на «эсэсай». Я вдобавок к нему на своем карьере выработал крохотную пенсию.

*Н.:* Ишь ты, какую ты карьеру в своем карьере сделал.

*А.:* Не говори.

*Н.:* Может, со временем снова выберешься в Европу?

*А.:* Не исключено. Если перефразировать Симонова, с которого мы начали наш разговор: «бывает так — американцу вдруг надо съездить к немцу».

*Н.:* Какие мы с тобой американцы да немцы? Так, обыкновенные россияне московского розлива.

### III. Старики

**Фриц — Фридрих — Федор Федорович.** Под балконом моего второго этажа на уровне первого или, как здесь говорят, эрдгешосса — земляного этажа — копают в земле сосед — пожилой худощавый русский немец.

— Не очень низко вам там живется, Фриц?

— Да нет, мы привыкли: всю жизнь на селе.

Как-то решили обменяться визитами. Сначала поужинали у нас. Фриц пришел со своей Катей, типичной пожилой крестьянкой, молчаливой, с умным взглядом, за которым угадывалась трудно прожитая жизнь. Потом пошли к ним на пельмени, вареники с картошкой, на собственного квашения капусту и малосольные огурчики, которые в Германии почему-то не делают.

Мужчины выпили «беленькой», женщины — «красенького». Все как водится или, вернее, водилось в той прошлой деревенской жизни, в которой хозяин дома был сначала Фрицем, потом Фридрихом, а потом Федором Федоровичем. И были у него не одна, а три жизни, так что здесь в Германии, идет четвертая и уже, наверное, последняя.

Первая — довоенное детство и юность в селе под Одессой, которое видится сейчас потерянным раем — земля была тучной, климат теплым, в погребах стояли бочки с домашним вином и висели окорока. Жили все вместе — немцы, русские, украинцы, евреи. И бегал он вместе с еврейскими детьми — Фричик и Ицик, и обихаживали их немецкая и еврейская матери.

Дома говорили по-немецки, и в школу он ходил немецкую, где наряду с Пушкиным учили Гете, Шиллера, так что некоторые строки он и сейчас, на старости лет, помнит.

Только недолгим был этот рай. Потом началась казахская степь, снежные бураны, когда дома заносило по самую трубу, тяжкий подневольный труд.

Но его доля была еще горше. Пятнадцать лет лагерей строгого режима, из них девять месяцев — в камере смертников. Я понимал, что бессмысленно спрашивать: за что? Сажали за слово, за анекдот, по доносу недруга, за то, что был немцем. А мог просто попасть под разнарядку, спускаемую сверху органам безопасности.

Конечно, играла роль и случайность. Когда после девяти месяцев содержания в

камере смертников, переполненной так, что не только лежать — сидеть приходилось по очереди, его, ослабшего от дизентерии, с трудом передвигающегося, привели ночью в огромный кабинет (он был уверен: ведут на расстрел) и объявили, что смертная казнь заменена пятнадцатью годами, он также не понимал, за что эта милость, как не знал, за что ему присудили вышку. Где-то там наверху действовал бездушный механизм, определявший, кого казнить, кого миловать. Этот механизм проглотил его двадцатилетним и выплюнул, выкинул на свободу 35-летним.

И тогда началась третья жизнь. Он вышел на свободу, пройдя все круги ГУЛАГовского ада, в том числе знаменитое восстание в карагандинских лагерях, здоровым, полным жажды жизни, владеющим едва ли не десятком строительных профессий. Поработав в геологической партии, купил себе машину, женился, начал вить гнездо в селе под Алма-Атой. Городские базары были неподалеку и смотаться туда с картошкой, салом и сметаной выходило совсем недолго. Хозяйство же свое усадебное они с Катей завели отменное — и коров, и свиней, и овец держали, и огород был полон всякими овощами — не хуже того, какое виделось ему в детстве под Одессой, разве что виноград здесь не рос, и вместо вина водочка шла.

Когда подросли трое их сыновей, Федор Федорович (так звали его в округе) собственноручно отстроил им дома. И пошли свадьбы да крестины, провожания да встречи. К старости он приближался патриархом, окруженным родичами, детьми, внуками.

— Так надо ли было ехать? Кто-то теперь живет в ваших домах?

— В домах живут казахи. И пусть себе на здоровье живут. А ехать было надо.

Он поехал первым, потом перебрались сыновья. Все работают — двое на заводе, один шофером. Купили себе дома под Ганновером, у всех машины. И снова пошли семейные сборища, дни рождения да юбилеи, а скоро и свадьбы внуков подспеют, совсем уже немецких внуков, только смутно знающих и почти совсем не помнящих ту несуществующую страну со странным именем СССР, где жили и страдали их «опа» и «ома».

**Воля к сопротивлению.** За долгие мои германские годы мне в силу своей журналистской профессии пришлось выслушать немало исповедей старых немцев, пытающихся осмыслить, что же произошло с их народом в двадцатом веке. Я вспоминаю старую женщину из приморского города Вильгельмсхафена. Вот она сидит в своей одинокой квартире и пишет, пишет пока позволяют ей больные глаза. Она пишет историю своей семьи. Читать ее невозможно без сердечного сжатия, без мысли о том, как невероятно стоек бывает человек, сколько он может вынести и остаться тем не менее человеком.

Отец Натальи Шнайдер Андреас, родившийся в 1876 году представляется мне образцовым земледельцем, каких было немало среди русских немцев. У него было целое имение в Поволжье, в нынешней Саратовской области — большая плантация, земельные угодья, сады, верблюды и другой скот, птица, а главное — маслостроительное предприятие — основной источник его богатства. Обслуживалось это имение семьей в 11 человек. Сам Андреас был не только необычайно трудолюбивым, умелым, но и интеллигентным человеком. Дожив до старости, он надеялся передать дело в руки старшего сына, а сам «уединиться в своей библиотеке, в рабочем кабинете и заниматься своим любимым делом — читать, писать, проектировать, музицировать». Знать бы ему, когда произносились эти слова, какой на самом деле будет его старость — зэковская, ссыльная, голодная, страшная, как дантов ад.

Его раскулачивали в тридцатом и все, что было до этого рубежа Наталье Андреевне Шнайдер, как и моему соседу Фридриху его детство, представляется потерянным раем. Просторный дом, окруженный хозяйственными службами, семейные праздники, веселые добрые, любящие друг друга люди, верблюжата, с которыми она играла во дворе.

Все это кончилось мгновенно и страшно. Пришли какие-то люди (так это виделось пятилетнему ребенку), долго рылись в бумагах, а потом отец собрал семью и сказал, что больше у них ничего нет — ни имения, ни скота, ни земли и даже дома. Впоследствии дочь вспомнит рассказ старших о том, как отец в период революции

говорил, что он не может допустить, чтобы Ленин санкционировал отъем частной собственности: «Ведь он дворянин и его дворянская честь выше этого преступления».

В тот день, когда все было отобрано и семья стала нищей, а отец уже понимал, что их всех ждет, он сел за рояль и все стали петь молитву.

Вскоре отца и старшего брата посадили в тюрьму, затем отправили в лагерь в Архангельскую область, а мать с оставшимися детьми вместе с другой такой же разоренной семьей оказалось в крохотной степной землянке в пятнадцати километрах от их бывшего дома.

Так начинался их крестный путь, растянувшийся на десятилетия. Чего только не было на этом пути — голод и холод, многодневные бураны, заносившие землянку снегом по самую крышу, вой голодных волков, пытавшихся раскопать снег и добраться до людей, милостыня, собираемая по дворам, бесконечные по месяцу-два переезды в забитых до отказа душных, вонючих скотских вагонах сначала с Запада на Восток — в казахстанскую ссылку, а потом с Востока на Запад в трудармию и снова назад в Казахстан.

Ей суждено было детство, проведенное в ссылке, юность — в трудармии и молодость снова в ссылке, без права отлучиться, с отметками в спецкомендатуре. Относительно свободная жизнь, если только можно было назвать свободной советскую жизнь, началась, когда ей было уже тридцать. Но к этому времени от всей многодетной семьи остались только она и мать.

Первые уроки социальной педагогики Наташа получила в детстве. Не только она, но и мать, к тому времени прожившая немалую жизнь, никак не могла понять, откуда взялись эти «активисты» — горластые, наглые люди, грабившие их добро? Собственно, и мать приглашали в эту компанию. Надо было развестись с сидящим в тюрьме мужем, вступить в партию и вместе с другими отбирать кулацкое добро, участвовать в бессудных расправах. За это можно получить жилье в одном из отобранных у кулаков домов, дети пойдут в школу, а маленькие — в детский сад, будет хлеб, работа, защита... Мать с негодованием отказалась, и судьба семьи была предопределена. Они стали частицей огромного потока переселенцев, захлестнувшего страну. Более двух миллионов людей в 1931–32 годах перегонялись из родных мест в Сибирь, на Урал, на Север. Как говорил один из героев Платонова: «На оседлости коммунизм никак не состоится: нет ему ни врага, ни радости».

На их долю выпал Казахстан. В местах, куда их привезли, беспрестанно дули горячие пустынные ветры, растительность кругом была высохшая, бурая лишь кое-где росли зеленые кусты колючей верблюжьей травы. Позже они узнали, что местные казахи называют эту траву «караганник». От этого слова и пошло название города, который вырастет здесь — Караганда. Начинался он с зоны — колючей проволоки, охраны с собаками, бараков для спецпереселенцев и с чудовищного, нечеловеческого труда этих переселенцев, волоком на санках тащивших по узкому штреку уголь, добываемый ими киркой, вручную. И долгие годы Наталья Андреевна, слыша по радио победные рапорты вроде такого, например: «700 тысяч тонн угля добыли в 1932 году шахтеры Караганды», будет думать об оплативших своей жизнью этот уголь шахтерах, погибших в обвалах, умерших от перенапряжения и голода.

И теперь, на старости лет в благополучной спокойной жизни в приморском Вильгельмсхафене ее мучают воспоминания детства, наполненные смертью. Вот она, вернувшись из школы, продышав глазок на заледеневшем оконном стекле, выглядывает на улицу. И весь день по дороге на кладбище, куда выходит окно их лачуги, на санках или просто на тряпках люди тянут на кладбище покойников, умерших от голода или брюшного тифа. Или в поселок въезжает «черный ворон» — черная лошадь, запряженная в большую черную безрессорную и оттого зловеще громыхающую повозку. Она подъезжает к одному из домов, и вот уже милиционеры выводят бледного человека с заломленными назад руками в сопровождении рыдающей жены. А вот они с мамой едут за вещами умершего от голода и непосильного труда старшего брата. Едут и идут, долго блуждают то по полю, то проселком и в конце концов приходят в селение, состоящее из бараков. В каждом во всю длину стоят тысячи вешалок, где связанные в узелок, с деревянным номером висят вещи покойного. Это город мерт-

вых. Они расписываются в какой-то огромной книге и долго плачут над старыми грязными тряпками, оставшимися от их веселого доброго мальчика.

В 43-м ее забрали в трудармию. И поволок ее теплушечный эшелон через всю страну из карагандинской степи в вятские леса на лесоповал. Здесь, как и в Караганде, был свой лагерный мир, целый континент под названием Вятлаг с безраздельной властью людей в погонах над тысячами жизней, с полной оторванностью от всей остальной жизни лагпунктов, затерянных среди тайги и болот. Как удалось выжить этой хрупкой 18-летней девочке, одному Богу известно. И замерзала, и опухала от голода и цинги, и убегала от эзков, для которых раздавить ее, что муху прихлопнуть. Но ведь выжила и вспоминает не только злодеев, но и добрых людей, что встречались на ее пути и спасали ей жизнь.

Так было в жизни ее семьи не раз. Когда, казалось бы, все кончено, ложись да помирай, находится кто-то протягивающий руку помощи.

Когда в 30-м отца арестовали, а мать с детьми выселили в степную хибарку, от них отвернулась вся огромная родня, те с кем дружили, праздновали, радовались и печалились. Боялись, наверное. Страх висел над всеми как черная туча. И нашелся один-единственный человек, который смог преодолеть этот страх и, рискуя собственным положением (он какую-то должность занимал), привозил голодающей семье продукты, предупреждал об опасностях, проводил их в ссылку. Так и здесь в Вятлаге находился раздатчик, давший лишнюю пайку хлеба, или начальница отдела кадров, забравшая ее с лесоповала, старый бухгалтер, подкармливавший ее в столовой. Она помнит этих людей всю жизнь.

Вернувшись в Караганду, Наташа вышла замуж за такого же «трудармейца» родила ребенка. Начался новый этап ее жизни, который можно назвать борьбой за образование.

Среди всего того, что советские немцы пережили в 40-е–50-е годы был и негласный запрет на учебу в вузах. В сущности, речь шла о попытке лишить народ интеллигенции. В Карагандинском горном институте Наталье Шнайдер так и сказали: «Немцев мы не берем».

Она жила с матерью, мужем и детьми в лачуге в старом городе, этом скопище «шанхаев», выросших там, куда ее привезли 15 лет назад, ездила на работу в институт «Гипрошахтпроект», куда устроилась оператором счетной машины. Очереди за продуктами, невыносимый быт, скудное существование с постоянными отметками в спецкомендатуре — где там учиться. Но надо было знать ее характер.

Когда стало ясно, что ни в один вуз ее не примут, она написала письмо Сталину: так мол и так, дорогой Иосиф Виссарионович, у нас есть Конституция, в ней записано право на образование, а меня как немку ни в один институт не принимают. Сочинила такое послание, отправила оказией в Москву (по почте оно бы не дошло), но в ожидании ответа рук не опустила, а послала свои документы в Свердловский заочный индустриальный институт. И там ее, то ли не разобравшись, с кем имеют дело, то ли по счастливой случайности, приняли, начали присылать контрольные работы. Сидя ночами над книгами, она все выполняла исправно, но пришлось ехать на сессию. И это и было самое страшное, не отметившись в комендатуре, в сущности, нелегально (в случае проверки документов ей грозил срок), она отправилась в Свердловск. Дважды ей приходилось совершать этот «смертельный номер», пока вскоре после смерти Сталина пришел ответ на письмо с резолюцией Маленкова: «Снять ограничение и дать возможность учиться». И она училась со страстью, с великим напряжением всех сил теперь уже в заочном Московском энергетическом, доведя себя до такой степени физического изнеможения, что в момент защиты дипломного проекта ее поразила временная слепота. Так и защищала вслепую с помощью подруги, читавшей ей штампы на чертежах.

В жизни Натальи Шнайдер с трагической полнотой запечатлелась судьба народа, к которому она принадлежит. Власть, политическая система, казалось бы, делала все, чтобы раздавить эту женщину, а она сопротивлялась, стремясь сохраниться как человек, личность. И дальше судьба не миловала ее. Уже будучи высококвалифицированным специалистом, занимая серьезные инженерные должности, Наталья Андреевна вынуждена была, спасая семью от радиоактивного заражения уезжать из

Джезказгана, с его лежащими почти на поверхности залежами урана. И смерть не обходила стороной семью. Мать, муж, старший сын остались в земле, которая так сложно теперь обозначается — постсоветское пространство.

И вот Вильгельмсхафен, устроенные и внедрившиеся в германскую действительность дети, внуки... Можно писать, вспоминать, думать. И она думает и пишет. Книжка, в которой она рассказывает о своей жизни, называется «*Todlicher Ausgang*» — «Смертельный исход».

**Русская рулетка.** Нам кажется, что все переживаемое нами — преодоление языкового барьера, поиск работы, вхождение в иную действительность, приобщение к немецкой ментальности — беспрецедентно, внове. Но нет, старожилы говорят, что тот же процесс адаптации в послевоенные годы проходили польские евреи, разве что их прошлое было куда более трагично, чем наше. Чудом уцелевшие в польских гетто и на сибирском лесоповале, они попадали в Германию, словно не веря тому, что живы. Для многих из них Германия была перевалочным пунктом, этапом в дальнейших скитаниях, конечной точкой которых должны были стать Палестина или США. Но некоторые, особенно молодые, оставались в немецких городах, осваивая язык и профессию, становясь предпринимателями, учеными, врачами. Они-то в значительной мере и формировали еврейские общины Германии 50-х–60-х годов. Теперь в этих общинах активно действуют уже их дети, но сохранилось еще и поколение отцов.

Мне не раз приходилось встречаться с Александром Бреннером, председателем Берлинской общины в середине нулевых годов. Мы беседовали обычно по-русски (мой собеседник мог бы говорить кроме немецкого еще и на идиш, иврите, польском, по-английски, но мне-то уж куда такое многоязычье...).

Разговоры наши насыщены воспоминаниями об общих московских и израильских знакомых, но когда разматывается нить беседы о времени, жизни, его собственной судьбе я каждый раз удивляюсь сколь поразительны извивы этой судьбы, бросавшей его из польского местечка в сибирскую тайгу, а затем в Западный Берлин, в Москву, в Тель-Авив, в лоно дипломатических особняков и правительственных канцелярий.

Колесо Истории катилось по биографии этого человека столь причудливо и жестко, что порой казалось колесом рулетки, определявшей жить ему или не жить. Впрочем, то была отчаянная русская рулетка.

При подписании секретного протокола Молотова—Риббентропа властительный карандаш прошел по Бугу, разделив польские земли на советскую и германскую зоны. Где были Молотов и Риббентроп и где был польский городок Томашов, в сущности, еврейское местечко с его обитателями и в том числе семьей скромного продавца газет Моисея Бреннера, но тот карандашный прочерк спас семье жизнь, отнеся Томашов в советскую зону. Конечно, евреи Томашова не могли знать этого, как не знали, не понимали того, что отправляя их в товарных вагонах год спустя после начала Второй мировой войны из родного местечка в сибирскую тайгу им второй раз спасают жизнь. Но кто тогда мог это понимать? Месяц они ехали через всю огромную страну, чтобы очутиться на поселении в Алтайском крае.

До сих пор Александр помнит норму выработки на лесоповале — 3,5 кубометра в день. Повалить, обрубить ветки и сучья, тогда получишь 400 граммов хлеба. Помнит и номер поселка, где жил, название района — Быстроистокский. Много лет спустя, живя в Москве, он познакомился с артистом театра на Таганке Валерием Золотухиным. Они оказались «земляками». Валерий родился в Быстроистокском районе. И они долго вспоминали свое алтайское таежное детство — немецкий дипломат и русский артист.

А колесо рулетки все вращалось. В Москву приехал руководитель эмигрантского польского правительства генерал Сикорский. В переговорах со Сталиным он поставил условие — освободить польских граждан. И комендант Пашков — бог и царь спецпоселенцев — пришел в барак и сказал: «Вы свободны». Бреннеры отправились в ближайший город — Бийск, где Александр и закончил школу с золотой медалью. Вот сидит на фото с ребятами выпуска 45-го года, ниже седоусого учителя. Потом десятилетия спустя он будет приезжать в Бийск, отыскивать дом, где жили, сверстников,

учителей, а молоденькая учительница, ставшая к тому времени старой женщиной, будет отыскивать в облике современного европейца черты того мальчика, которому она преподавала немецкий язык.

В 46-м — снова товарные вагоны, обратный путь в Польшу, только не в родной Томашов, испепеленный войной и Холокостом, а на новые земли — в Щецин. И сразу же после пересечения польской границы — антисемитские выкрики, камни бросаемые в окна и весть о еврейском погроме в Кельцах. Нет, здесь нельзя было жить. И тогда для них вступила в силу операция «Бриха». Это слово в переводе с иврита означало «Побег». Так называлась подпольная организация молодых сионистов, созданная в конце войны для переправки евреев из Восточной Европы в Палестину. Бреннеры ехали через Чехословакию в Австрию с тем, чтобы осесть на какое-то время в Баварии в лагере для перемещенных лиц.

Но Александр хотел учиться. Молодое честолюбие, молодая страсть к знаниям не давали ему покоя. И он оказывается сначала в Эрлангенском, а затем в Западно-берлинском техническом университете. Семья уезжает в Израиль (уже в Израиль, а не в Палестину), а он остается в Германии. Завершает образование, защищает докторскую диссертацию, становится преуспевающим ученым, специалистом в области радиационной химии, руководит лабораторией в одном из НИИ. Он каждый год ездит в Израиль — там могила родителей, семья сестры, родственники, но вместе с тем работа, карьера, жизнь — в Германии.

В 70-м после недолгой работы в Министерстве науки его назначают советником по науке в посольство ФРГ в Москве. Пришлось вспоминать русский язык, соприкасаться не только с русской наукой и культурой, но и с российским еврейством: бывать в домах у ученых-отказников, плясать у синагоги на улице Архипова хору и петь Хаванагилу. Это было время разрядки международных отношений — детанта, визитов Вилли Брандта, а потом Гельмута Шмидта в Москву и Брежнева в ФРГ. Вот он дипломат Бреннер стоит в 75-м на снимке на втором плане правее от канцлера Шмидта. Ровно 30 лет разделяют два снимка, на одном из которых — выпускник Бийской средней школы, а на другом — немецкий дипломат на почетной церемонии.

Он еще раз вернется в Москву, уже в 93-м, где будет создавать Международный научно-технический центр, организованный для того, чтобы предотвратить утечку мозгов из России в Ирак, Северную Корею, Ливию, заинтересованных в создании ядерного, химического и бактериологического оружия. Вот такая деликатная миссия, характерная уже для нашей новейшей истории.

А в промежутке будет Израиль, где Бреннер восемь лет проработает также советником по науке посольства ФРГ. На снимке 1986 года он сидит рядом с тогдашним премьер-министром Шимоном Пересом.

В 97-м он выходит на пенсию, а четыре года спустя его избирают председателем Берлинской общины. Потом его сменили более молодые лидеры, но он много лет остается в общинном парламенте, как один из наиболее уважаемых и порядочных членов руководства. Мы время от времени встречаемся в нашем излюбленном кафе напротив общинного дома — попить кофе, поболтать, обменяться новостями. Его ум остер, память свежа и рассказы открывают мне многое в германской и, в частности, еврейской жизни. Вот один из его монологов, отражающих менталитет этого человека.

«Берлинская община самая большая по численности в Германии. Она насчитывает сейчас около 12 тысяч человек, причем 70 процентов из них — выходцы из бывшего СССР. Между тем после войны, в начале 1946 года в Берлине было около 2,5 тысячи евреев. Это были люди, которым удавалось скрываться здесь во времена нацизма и те, кто вышли из концентрационных лагерей — представители восточноевропейского еврейства, чудом уцелевшие в нацистской мясорубке.

В конце 80-х — начале 90-х годов началась эмиграция евреев из Советского Союза, которые теперь и составляют большинство членов общин. Это люди, которые жили в условиях советской цивилизации и в течение 70 лет, на протяжении жизни трех поколений утеряли связи с еврейской культурой и религией. Они обладают высоким образовательным и культурным уровнем. Они знают, кто такой Пушкин и Лермонтов, Гете и Шиллер, Шекспир и Золя, но о еврейской истории и культуре, а также и религии, которая у евреев включает в себя и язык, и историю, и литературу, имеют

довольно слабое представление. И мы стремимся восстановить эти разрушенные связи. Для детей, для молодого поколения у нас есть еврейская школа, еврейская гимназия. Для людей старшего возраста имеются курсы иврита, как и немецкого языка. Есть своя фольксхохшуде — народный университет. Имеется также дом для престарелых, где большое количество выходцев из бывшего Советского Союза.

Меня нередко спрашивают, какова роль еврейской общины в политической жизни Германии? Конечно же ее политический вес не связан с ее численностью. Это результат трагического прошлого. Для каждого германского правительства существование еврейской общины после Холокоста является политическим приоритетом, критерием демократического обновления страны. И потому все, что связано с еврейством получает большой резонанс в средствах массовой информации. Важно помнить и другое. У каждого еврея было, есть и будет особое отношение к Израилю. И странно, если бы это было иначе. Одна из главных наших задач состоит в облегчении политического, экономического и духовного положения еврейского государства. Это, пожалуй, единственный вопрос, по которому в общине имеется полное единство мнений. Независимо от нашего отношения к политике того или иного германского правительства, мы всегда будем очень чувствительны к антиизраилизму, который дает возможность легального выхода сохранившихся антисемитских чувств. Это ощущается в одностороннем подходе к израильско-палестинскому конфликту, в заголовках статей некоторых германских газет и других ситуациях».

#### IV. В пространстве истории

**«Моральная дубина Освенцима».** Эти «другие ситуации» периодически повторяются на германской общественной сцене, вызывая кипение страстей. Вот весной 2012-го мы обсуждаем с Бреннером очередной «горячий блин», испеченный на общественной кухне, — напечатанное в «Зюддойче цайтунг» стихотворение Гюнтера Грасса, в котором он обвиняет Израиль в стремлении «стереть с лица земли иранский народ». В ответ с резкой отповедью в «Ди Вельт» выступает писатель и журналист еврейского происхождения Хенрик Бродер, для которого Грасс являет собой «прототипом высококультурного антисемита».

Бреннер хорошо знает Бродера, следит за этой полемикой, понимает, каковы корни этого противостояния, и мы тут же вспоминаем события десятилетней давности, когда в такой же июньский день в Берлине под окнами штаб-квартиры Свободной демократической партии проходила организованная еврейской общиной демонстрация против попыток заместителя председателя этой партии Юргена Меллемана «превратить антисемитизм в политический инструмент». Будучи тогда председателем общины, Бреннер заявил в газете «Тагесшпигель», что цель этой демонстрации — пробудить немецкое общество, указав на то, чем может грозить попытка вновь оживить антисемитские настроения в Германии.

А незадолго перед тем разыгрывается другой акт в спектакле этого противостояния. Известный немецкий писатель Мартин Вальзер передает рукопись своего нового романа под названием «Смерть критика» в редакцию газеты «Франкфуртер альгемайне» на предмет публикации. Казалось бы, дело обычное. Но издатель газеты Франк Ширрмахер, прочитав роман, пришел в ужас настолько, что опубликовал 29 мая в своей газете открытое письмо писателю, которое прозвучало в обществе как разорвавшаяся бомба.

Ширрмахер назвал роман документом ненависти. Речь идет об убийстве критика-еврея, и книга, по мнению издателя, полна антисемитских клише и нацистских аллюзий. Критику грозят словами Гитлера, произнесенными по радио накануне начала Второй мировой войны: «С нуля часов мы наносим ответный удар». Критик жив, убийство не состоялось. Но объявление войны словами Гитлера персонажу, за которым угадывается Марсель Райх-Раницкий, один из немногих выживших обитателей Варшавского гетто, представляется Ширрмахеру кощунственным.

Но тут надо знать, кто такие Мартин Вальзер и Марсель Райх-Раницкий, какую роль они играют в общественной жизни Германии.

Вальзер давно уже стал классиком. Его произведения изучают в школах, его пьесы с успехом идут в театрах, а герои романов заняли прочное место в истории немецкой литературы. Он человек с определенным общественным темпераментом и часто с неконформистской политической позицией. Много лет добивался объединения Германии, в то же время резко выступал против войны во Вьетнаме, против выдворения из Германии балканских беженцев.

В 1998 году он стал героем политического скандала, в ходе которого в прямой или скрытой форме получал упреки в антисемитизме. В речи по поводу присуждения ему премии немецкой организации книжной торговли Вальзер назвал Освенцим «моральной дубиной». Так и вошло с его легкой руки это выражение в политический обиход, как символ прекращения покаяния и «нормализации» германского общества. Четыре года спустя, в мае 2002 года, вызвав Вальзера на диспут в день освобождения Германии от нацизма, тогдашний канцлер Шредер, подчеркивая свойственную писателю «тоску по нормальности», сказал: «Мы стали другими потому, что нас заставили стать другими».

А тогда, в 1998-м главный оппонент Вальзера председатель Центрального совета евреев Германии Игнац Бубис заявил, что, требуя прекратить напоминания об исторической ответственности немцев за Холокост, писатель разжигает в стране новый антисемитизм.

Райх-Раницкий представляет собой фигуру, пожалуй, даже более колоритную, чем Вальзер. В свое время его автобиографическая книга стала бестселлером, что неудивительно, ибо жизнь этого человека представляет собой потрясающий авантюрный роман. Польский еврей по рождению он воспитывался в Берлине у родственников, а затем перед Второй мировой войной был выслан из Германии в Польшу. Работая переводчиком в Варшавском юденрате, он, чудом уцелел в период массовой депортации, помог еврейским боевикам «гробануть кассу» юденрата и скрылся на арийской стороне.

Просидев вместе с женой полтора года в убежище, предоставленном ему польской семьей, он после освобождения Варшавы вступает в компартию, делает карьеру в польской разведке, выполняет ее поручения в Лондоне. Исключенный в период очередных гонений на евреев из партии, бежит в Западную Германию, где вскоре становится ведущим критиком, законодателем литературных мод. Его телевизионная передача «Квартет» создавала и разрушала писательские репутации, формировала тиражи книг. Вел он ее жестко и даже, пожалуй, агрессивно, подавляя своим авторитетом остальных участников.

Вот таков человек, выведенный Вальзером в своем романе под именем Андре Эрл-Кенига. Собственно, романа кроме Ширрмахера тогда никто не читал, но его открытое письмо писателю вызвало бурю страстей, массу откликов в СМИ.

Эта литературная история наложила в том же году на другой скандал — чисто политического свойства. Героем его стал 45-летний германский гражданин арабского происхождения Джамал Карсли. Он выдвинулся на общественную арену в земле Северный Рейн-Вестфалия как представитель интересов иммигрантов и в партии «зеленых» этой земли отвечал за политику в области миграции, став, в конце концов, депутатом местного парламента.

Карсли распространил сообщение для прессы, в котором обвинил Израиль в применении «нацистских методов» в борьбе с палестинцами и сообщил о существовании в Германии «сионистского лобби», перед которым немецкие СМИ испытывают страх. В ответ на критику товарищей по партии этот борец с «израильским нацизмом» сообщил, что уходит вместе со своим депутатским мандатом к свободным демократам, так как их земельный лидер и зам. председателя всей партии Юрген Меллеман придерживается тех же взглядов на политику Израиля в отношении Палестины.

Меллеман взял Карсли под свое крыло, и скандал приобрел общенациональное звучание. С одной стороны, в ход пошли рассуждения о «всемирном еврейском заговоре», с другой — угрозы подать в суд. Тогдашний заместитель председателя Центрального совета евреев Михаэль Фридман сказал о «коричневом оттенке» выступлений Меллемана и Карсли. Меллеман в свою очередь заявляет, что Фридман «своей агрессивной наглостью способствует появлению новых антисемитов». Словом, впору вспоминать дебаты в рейхстаге и речи на митингах в начале тридцатых годов.

Германское прошлое, зловещей тенью встающее над всеми этими политическими играми, для некоторых еврейских оппонентов Меллемана и Вальзера имело личную подоплеку. Райх-Раницкий и Игнац Бубис были чудом уцелевшими после Холокоста узниками польских гетто. Родителей Фридмана спас от уничтожения Шиндлер. Так что для них рассуждения Вальзера о «моральной дубине» Освенцима, о необходимости предать забвению прошлое носят отнюдь не отвлеченный характер, они как бы родом из Освенцима.

Некоторые участники этих скандалов минувших дней давно сошли с общественной сцены по чисто физическим причинам. Погиб, прыгая с парашютом, Меллеман, умер Бубис, тихо доживает свой век 92-летний Райх-Раницкий. Но конфликтные ситуации подобного типа повторяются, как это произошло с полемикой вокруг стихотворения Грасса, раздирая общество, пробуждая тлеющие страсти, за которым стоит трагическое прошлое.

**В начале было слово...** «А знаете, кто спроектировал эти двойные фонари, стоящие по всей Кайзердамм? — спросил меня архитектор Дмитрий Хмельницкий, когда мы стояли на редакционном балконе, нависавшем над оживленной берлинской магистралью. — Альберт Шпеер, любимец Гитлера и министр вооружений, в пору когда он был берлинским архитектором».

Эта реплика сразу же поместила нас в пространство истории.

Мы впитываем в себя Германию, облик ее улиц, быт, нравы и, конечно, прежде всего, язык, оказываясь на стыке культур, времен, эпох. Архитектура — летопись эпохи. Ну, а язык?

«В начале было слово...»

«Что вы читаете, мой принц? — Слова, слова, слова...»

Как многослойно слово, как многообразны и глубоки его смыслы.

Первое время в Германии я вздрагивал при слове «гешефтсфюрер». Презрительный для моего российского уха смысл первой половины этого существительного накладывался на трагический — второй части. Современное обозначение безобидной профессии (что-то вроде — «коммерческий директор») как бы заслонялось ощущениями, продиктованные иной исторической ментальностью.

Советский военный следователь отправил в 45-м в концлагерь обыкновенного водителя трамвая, его должность называлась «баннфюрер».

Переводчик с русского на немецкий моей книги о жизни и гибели Варшавского гетто спросил меня, в каком смысле я употребляю термин «мировое еврейство». Я сказал, что в самом прямом: евреев в мире 13 миллионов, и они представляют собой некую национальную общность. Но оказалось, что это был любимый термин Геббельса, носивший негативный смысл всемирного еврейского заговора, и подобный смысл так и остался в немецком языке.

В годы, когда я приехал в Германию, там была очень популярна фигура профессора Виктора Клемперера. О нем писали почти все средства массовой информации. Дневники, которые вел он, еврей, чудом уцелевший в годы нацизма (спасли сначала брак с немкой, а затем бегство из разбомбленного Дрездена перед самым концом войны), стали бестселлером десятилетия спустя после смерти автора.

Его книги издают, на их основе был снят документальный фильм, им присуждали литературные премии. Но его книга «Язык Третьего рейха» с подзаголовком «Записная книжка филолога» стоит в этом обширном литературном наследии особняком многозначностью и многомерностью своего содержания. Перед нами биографии немецких слов, их послужной список, открывающий психологию германского национал-социализма и дающий представление об отличии и общности с советским интернационал-социализмом.

Филологическое творчество нацизма заключалось не только в заимствовании из других языков, но и в изменении значения слов, частоты их употребления, приписывании им особого смысла, использовании терминов, которые раньше принадлежали отдельным группам населения, пропитывании целых фраз идеологическим ядом.

Вот два примера, которые особенно понятны человеку, выросшему в условиях советского тоталитаризма. Слово «народ». Им сдабриваются все речи нацистских лидеров, все статьи, как еда солью. Всенародный праздник, народное единство,

выходец из народа, близкий к народу, чуждый народу... Напомню, что и в советском идеологическом обиходе сталинского периода был распространен термин «враг народа». Им обозначались все обитатели Гулага, попавшие туда по политической статье. Стало быть, и я, сын репрессированного отца, считался «сыном врага народа».

Или слова «битва за урожай», как часто ими пестрели советские газеты. Не менее часто они употреблялись в нацистской печати. Клемперер с его филологической эрудицией отмечает, что в данном случае копируется «battaglia del grano» итальянских фашистов. Выходит, что в этих словах три тоталитарные системы — итальянская, германская и российско-советская — протягивали друг другу руки, демонстрируя общность идеологического мышления.

Концлагерь — это слово Клемперер впервые услышал мальчиком, в начале века. Во время англо-бурской войны много говорили о «компаундах» — концентрационных лагерях, в которых англичане держали пленных буров. Потом он совершенно исчезло из немецкоязычного обихода и вынырнуло в эпоху нацизма, обозначившее теперь уже немецкое учреждение, направленное против немцев. Интересно, что в России подобного рода учреждения называли исправительно-трудовыми лагерями. Здесь большая доза лицемерия: не просто концентрируем врагов режима и уголовных преступников, а перевоспитываем их, исправляем трудом.

Слово «исторический». Его применяют, где ни попадя, придавая эмоциональную приподнятость самым разным проявлениям жизни. Победа немецкого гоночного автомобиля — историческая, так же как и ввод новой автостреды. А уж всякая речь фюрера, всякая встреча с дуче конечно же исторические.

Суперлативные свойства (суперлатив — в грамматике — превосходная степень) приписываются самым разным понятиям с целью таким простейшим способом воздействовать на воображение обывателя. Прежде всего используются цифры. Скажем, в сообщениях о расцвете германской прессы говорится, что если сложить в стопку все газеты ежедневного тиража, то она вознесется на 20 километров в стратосферу, а во время визита Муссолини в Берлин сообщалось, что на полотнища и транспаранты для украшения улиц ушло 40 тысяч метров ткани.

Отсюда же пристрастие к словам «тотальный», «стопроцентный», «уникальный». А понятие «тысячелетний рейх», а фраза «мир слушает фюрера»... Все это из того же ряда, что и «величие ленинских идей», «всенародная победа», «светлое будущее» и т.д и т.п.

Во время многолетнего мучительного пребывания в «еврейском доме» в Дрездене, наполненном ожиданием высылки в Освенцим или Терезиенштадт, в скитаниях последних месяцев по разоренной войной Германии, Клемперер пропускает через свое сознание филолога, гуманиста, европейца весь тот кошмар, который его окружает, фиксируя изменения в массовом менталитете, неизбежно происходящие под влиянием нацизма.

Язык Третьего рейха проникает повсюду, на нем говорят не только с трибуны, в газетной статье, он входит в обиход.

Скрываясь в доме своего друга-аптекаря, Клемперер читает безобиднейшую брошюру о целебных травах. Казалось бы, что может быть дальше от политики, чем это издание союза аптекарей? Но оцените только одну такую фразу: «Применение целебных трав в лечебных целях подтверждает то, что было известно нашим предкам, успешно использовавшим их целебные свойства в седой древности. Мысль о связи крови и почвы подкрепляет доверие, которое мы питаем к травам нашей родины».

Эта политизированность всех проявлений жизни знакома и россиянам. Только вместо слова «раса» использовался термин «класс».

Вообще рассуждения о крови, почве, провидении — типично немецкие. Немецкое и переосмысление некоторых слов.

Так слово «фанатизм», ранее имевшее негативное значение, приобретает позитивный смысл особенно по мере приближения конца войны: «фанатичная преданность фюреру».

В языке Третьего рейха происходит причудливое смешение проявлений общетоталитарного мышления с его чисто национальными реалиями.

Трансформацию приобретают собственные имена — назад к германским национальным истокам, а, стало быть, газеты полны объявлениями о том, что те или иные лица берут себе имена Дитер, Детлев, Уве, Магрит, Ингрид, Ута. В этом контек-

сте вспоминается, что палач Варшавского гетто, эсэсовский генерал Юрген Штроп, в молодости был Йозефом. Юрген считалось как-то патриотичнее.

Особый смысл приобретает местоимение «наш». «Наш доктор» — это о Геббельсе, «наш философ» — о Розенберге.

Важную роль приобретает энергия фразы, приспособленность ее для хоровой декламации: «Германия, пробудись! Жид, издохни! Фюрер приказывай!»

Чтение книги «Язык Третьего рейха» дает ощущение бездны, в которую падают национальная культура, здравый смысл народа, нравственные традиции. Это судьба нации, увиденная через призму языка. Взглянул бы кто-нибудь показать тоже через «магический кристалл» языка, как народ поднимался из этой бездны, что представляет собой нынешний немецкий язык и как он отражает нынешнюю реальность.

Вот была бы книга!

**Двое из Черновцов.** Как-то, будучи в бундестаге, я обратил внимание на то, что один из внутренних двориков этого парламентского комплекса носит имя Поля Целана. Это все равно как в российской Государственной думе имелся бы зал или внутренний двор, носящий имя, скажем, Пастернака. Впрочем, и депутаты бундестага, я полагаю, не очень-то задумываются над тем, чье имя носит этот дворик, когда они пробегают по нему, погруженные в свои политические игры.

Между тем, не живя в Германии, трудно себе представить, насколько имя Поля Целана, так же как и другого великого немецкого лирика Розы Ауслендер, вошло в культурный и общественный обиход страны, какое место эти имена занимают в иерархии исторических и культурных ценностей общества. Самое знаменитое стихотворение Целана «Фуга смерти», которое называли стихотворением века, было зачитано в бундестаге в день пятидесятилетия Хрустальной ночи.

Частью обряда стало и имя Розы Ауслендер, признанной самым популярным немецким лириком нашего времени. Общие тиражи ее книг превышали 800 тысяч экземпляров. Когда ей была присуждена высшая награда ФРГ — Большой крест за заслуги, вручать его в дом престарелых еврейской общины Дюссельдорфа, где жила Ауслендер, приехал тогдашний премьер-министр земли Северный Рейн–Вестфалия Йоханнес Рау.

Между тем трудно себе представить людей, более далеких от всего того, что связано с понятиями «государство», «политика», «народ», чем эти люди. Восприятие их поэзии — изощренной, изысканной, пронизанной экстаическим напряжением, со сложной метафорикой — требует определенного уровня художественного мышления, которое отнюдь не свойственно массовому сознанию. Что они для немецкой культуры? Задаваясь этим вопросом, я осознаю, что высокую и трагическую музыку такой поэзии, как, впрочем, и всякой поэзии, нельзя донести до читателя иноязычно. И потому я ищу аналогии в своей русской культуре. Может быть, они для немцев то же, что для нас великая четверка — Пастернак, Манделштам, Ахматова и Цветаева? А может, в восприятии творчества Ауслендер и Целана сказывается комплекс немецкой вины за Холокост, своего рода политкорректность? Но ведь для этих поэтов единственным языком, на котором они могли писать и выразить страсти, раздиравшие их души, был немецкий.

Целан даже к Мартину Буберу пришел со своими сомнениями, можно ли еврею писать на «языке убийц», и обиделся на 80-летнего философа, который спокойно и равнодушно посоветовал ему простить и продолжать издаваться. Да он и не мог не писать, такова была его судьба.

Без знания судеб этих людей невозможно осмыслить их творчество.

Роза Ауслендер и Поль Целан родились в Черновцах (до 1944 года — Черновицы), и то обстоятельство, что этот провинциальный прикарпатский город на реке Прут дал миру двух великих немецких поэтов, было бы достойно удивления, если не знать, какой густой культурной настой, какое поразительное многоязычие («каждая дворничиха — полиглот») царили в этом тихом углу Восточной Европы.

Перебрасываемая по своей принадлежности из одной империи в другую, будучи то частью Османской Молдавии, то Австрии, то Румынии, то, наконец, Советской Украины, Буковина (земля буков, так же как Бухенвальд — буковый лес, ассоциативная связь, используемая в целановских стихах) была, по словам того же Целана, «землей людей и книг», наполненной в межвоенный период цветением немецкой

поэзии. А Черновцы, называемые «маленькой Веной», с каштанами, старинным университетом, театром, кафе, где местные интеллектуалы толковали о Марксе и Фрейте, о Гельдерлине и Рильке, о Томасе Манне и Бертольде Брехте, оставались и для Целана, и для Розы Ауслендер всю их последующую жизнь «потерянным раем». Недаром одна из книг Ауслендер называется «Всегда назад, на Прут».

Эта мечта — назад, на Прут, в страну счастливого детства в обеспеченной еврейской семье, где музицировали и молились, где отец Зигмунд Шерцер (фамилию Ауслендер поэтесса взяла после недолгого брака), последователь знаменитого садагорского цадика, читал детям хасидские легенды, а мать — немецкую классику, так и осталась мечтой. «Мое отечество мертво/ они похоронили его/ в огне/ Моя родина/ материнское слово/ в нем я теперь живу», — напишет она впоследствии.

Для нее, родившейся в первый год века — в 1901-м, со времени, когда пришел «не календарный, настоящий двадцатый век», началась полоса скитаний. В военном 16-м семья бежала в Вену, а потом, по возвращении после нескольких лет учебы в Черновицком университете, после смерти отца молодой девушке пришлось отправиться в США, зарабатывать на жизнь.

Из Нью-Йорка обратно в Черновцы, где болела мать. В 40-м, когда Буковину захватила Красная армия, она на несколько месяцев попала в тюрьму НКВД по подозрению в шпионаже. Как-то обошлось, выпустили. А год спустя с приходом немецких и румынских войск началось гетто. Из каждых десяти черновицких евреев выжил только один — 5 тысяч живых на 55 тысяч погибших. Роза оказалась среди живых.

Десять послевоенных лет она, живя в Нью-Йорке и зарабатывая на хлеб тяжким канцелярским трудом (работала переводчиком в какой-то фирме), пишет стихи по-английски. Возврат к немецкому языку после пережитого казался невозможным. И тем не менее он произошел. В 65-м она переезжает в Дюссельдорф, будучи никому не известным поэтом (единственная книжка ее стихов вышла в 39-м тиражом в 400 экземпляров), и здесь к ней приходит слава.

За 23 дюссельдорфских года, пятнадцать из которых она вынуждена была из-за перелома бедра прожить в доме для престарелых, ею было выпущено тридцать поэтических сборников. Она работала до последнего дня, долгие годы не вставая с постели. Последнее ее стихотворение под названием «Прекрашай» содержит всего шесть слов: «Мечта/доживет/мою жизнь/до конца».

Целан же родился в 20-м когда Роза Ауслендер изучала философию в Черновицком университете, где он 19 лет спустя будет осваивать романистику и русскую культуру. Его звали тогда Пауль Анчел. Поле Целаном он станет позже, переставив для псевдонима слоги фамилии. Он был единственным сыном черновицкого торговца лесом, стремившегося дать сыну ортодоксальное еврейское воспитание, в то время как мать приобщала к немецкой культуре, столь распространенной среди черновицких евреев. В результате дома говорили на двух языках — иврите и немецком.

Сразу же после оккупации Черновиц он был мобилизован на принудительные работы сначала в городе, а потом в течение двух лет — в румынском трудовом лагере в южной Молдавии, где он работал на строительстве дорог. Когда впоследствии его спрашивал, что он там делал, он отвечал одним словом: «Рыл». В эти годы погибают его родители: отец от тифа, мать убивают выстрелом в затылок. И комплекс вины перед матерью, которую он не смог спасти, остается у Целана на всю жизнь.

Так же как и Роза Ауслендер, он уехал после войны в Бухарест, затем в Вену и, наконец, бежал в Париж, где жил до того самого весеннего дня 1970 года, когда парижские полицейские выловили из Сены утопленника, нашли в кармане его плаща вид на жительство и установили по картотеке: Пауль Анчел, гражданин Австрии, национальность — еврей, профессия — литератор.

В Париже он заканчивает Сорбонну, преподает немецкую литературу в педагогическом институте, много переводит. В 32 года, сразу же после выпуска сборника «Мак и память» к нему приходит слава. Казалось бы, его можно причислить к породе удачников. Он красив, женат на красивой женщине благородного французского происхождения, материально обеспечен, знаменит, находится в центре литературной жизни Европы, являясь одним из наиболее ярких ее представителей.

Но все это внешне. Апокалиптический ужас пережитого, увиденного живет в

нем, обрекает его на одиночество, на сложную внутреннюю жизнь, наполненную попытками выразить невыразимое, достучаться до самого себя, в собственной душе найти опору. Ему не дано забвение, груз пережитого делает его жизнь своего рода «отложенным геноцидом», отравляет его трупным ядом эпохи. В стихах, становящихся все более сложными, все менее доступными для понимания и от того рождающимися множеством интерпретаций, он ведет непрестанный диалог с самыми разными собеседниками. Среди них мать, Бог, Марина Цветаева и Осип Мандельштам, которых он так много переводил, жена, сын и даже дерево, цветок или камень.

Возможно, что он не страдал психическим расстройством, и его самоубийство можно было объяснить тем, что он не находил больше сил для выражения того, что переполняло его душу. «Разве Поль Целан, Тадеуш Боровский, Нелли Закс и другие, рожденные поэтами, — говорит Эли Визель, — не погибли из-за невыразимости того, что произошло в Освенциме, и чему еще предстоит как-то быть выраженным человеческим языком».

В его знаменитой «Фуге смерти», названной поэтической Герникой XX века, евреи, копают коллективную могилу под присмотром немца интеллектуала, смотрящего на них из окна. Вот последние строки этого стихотворения в переводе Людмилы Локштановой:

Черное молоко рассвета мы пьем тебя ночью  
мы пьем тебя в полдень смерть это мастер немецкий  
мы пьем тебя вечером утром мы пьем тебя пьем  
смерть это мастер немецкий глаз у него голубой  
разит тебя пулей свинцовой разит тебя твердой рукой  
в доме живет человек волос твоих золото Маргарете  
он свору спускает на нас он дарит нам в небе могилу  
он играет со змеями грезит смерть это мастер немецкий  
волос твоих золото Маргарете  
волос твоих пепел Суламифь

Все здесь — немецкий мастер, потерявший границу между добром и злом, фаустовская Маргарита и библейская Суламифь, могила в небе, о которой выше говорится, что она в облаках и лежать там будет нетесно, и главное этот гениальный образ — «черное молоко рассвета» — ведет диалог, расширяет привычные границы слова, раскрывает его многозначность, включает сознание в многослойный ассоциативный ряд.

Это стихотворение словно припоминание и вопль в пустые небеса. Такое же припоминание и вопль, как у Ахматовой с ее памятью о неизжитом, невыраженном до конца ужасе ГУЛАГа.

Затем, что и в смерти блаженной боюсь  
Забить громыхание черных «марусь»,  
Забить, как постылая хлюпала дверь  
И выла старуха как раненый зверь.  
И пусть с неподвижных и бронзовых век,  
Как слезы струится, подтаявший снег,  
И голубь тюремный пусть гулит вдали,  
И тихо идут по Неве корабли.

Притом что каждый из этих двух поэтов обладал своеобразной творческой манерой, художественной неповторимостью, они ощущали внутреннюю связь, свое духовное родство. Роза Ауслендер, знавшая Целана еще по Черновцам, встречалась с ним в Париже в 1957 году во время своей поездки по Европе. Эта встреча была важна для нее. Целан был уже знаменит, а Ауслендер после десятилетнего перерыва возвращалась в немецкий язык, отказываясь вместе с тем от канонов традиционного стихосложения. Можно только воображать, как они встречались в Париже, о чем говорили — два выходца из одной среды, из одного бесконечно далекого от Парижа провинциального города, два поэта переживших Катастрофу, которая стала главным нервом их творчества.